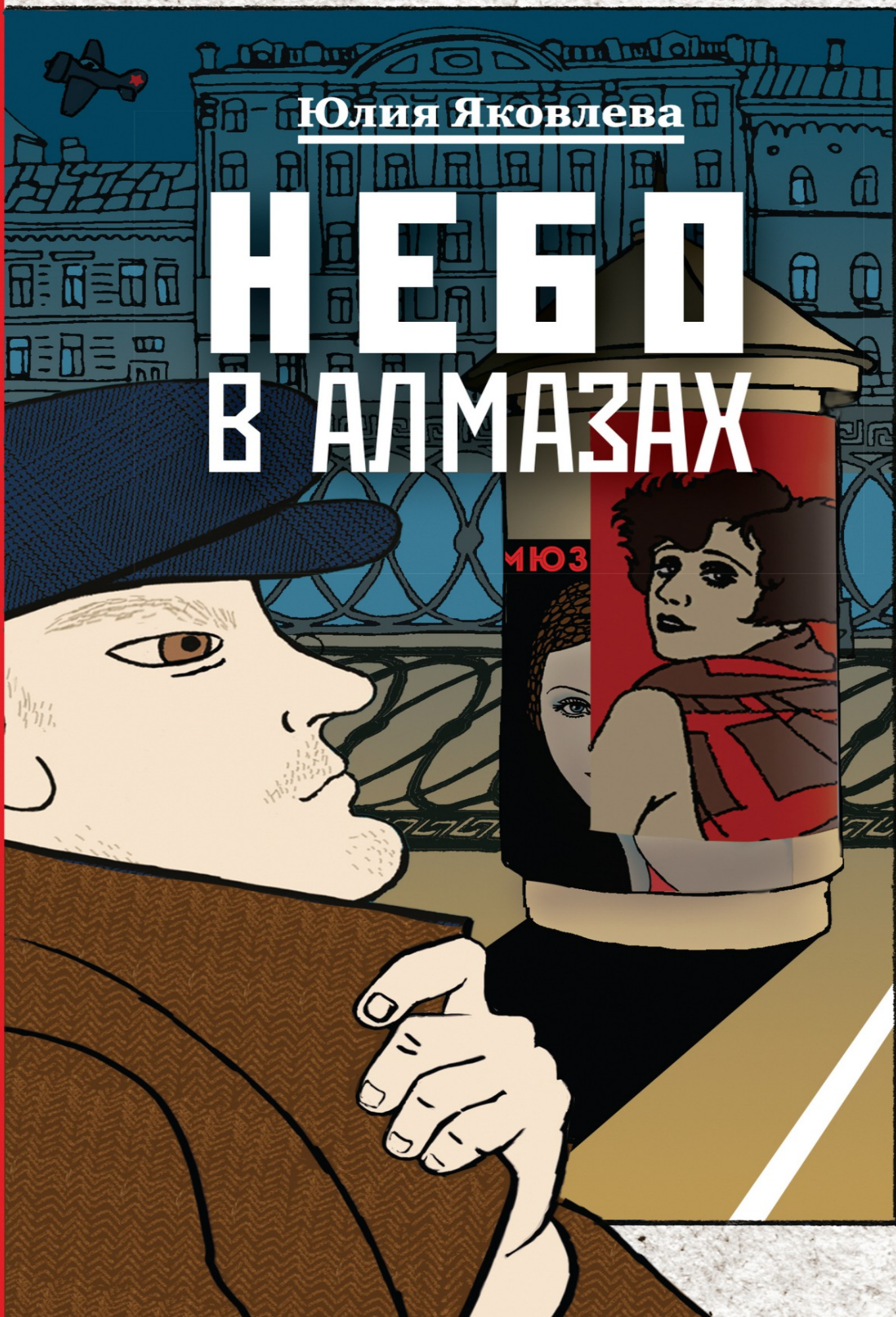


Юлия Яковлева

НЕБО В АЛМАЗАХ



Annotation

Страна Советов живет все лучше, все веселее – хотя бы в образах пропаганды. Снимается первая советская комедия. Пишутся бравурные марши, ставятся жизнеутверждающие оперетты. А в Ленинграде тем временем убита актриса. Преступление ли это на почве страсти? Или связано с похищенными драгоценностями? Или причина кроется в тайнах, которые сильные нового советского мира предпочли бы похоронить навсегда? Следовательно угрозыска Василию Зайцеву предстоит взглянуть за кулисы прошлого.

- [Юлия Яковлева](#)

-
-
- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)

- [notes](#)

- [1](#)

o 2

Юлия Яковлева

Небо в алмазах

© Яковлева Ю. 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

«В 1933 году в Ленинграде был и репрессирован 885 человек, 115 впоследствии расстреляны. Эта книга посвящается памяти Николая Федоровича Загорского, просто человека из списка».

Юлия Яковлева

Глава 1



«ОПАЛЫ ПРИНОСЯТ НЕСЧАСТЬЕ»

...вакханки и гладиаторы дружно повернули головы, и даже Сашенька приподнялся из своего кресла. Так громко она крикнула. А засъемщик от неожиданности перестал вертеть ручку.

Она словно не заметила черно-белый «колизей», намалеванный за моей спиной. Шурша платьем, бухнулась на колени. Не из раболепия, конечно, а потому что ноги ее не держали.

– Вар... Вар... – стучали зубы. Я отцепила ее холодные пальцы от края туники. На подоле заметила кровь: она порезала руки об

вышивку, но сама того даже не заметила. Мусю, горничную Верочки, била дрожь. Я кивнула Сашеньке, гневно разевавшему рот.

– Пять минут, – пыхнул он. Сашенька никогда не умел злиться на меня по-настоящему! С тех самых пор, как свою фирму в Москве открыл Ханжонков.

Вакханки уже набрасывали шали на плечи, покрывшиеся гусиной кожей. Гладиаторы спешно закуривали. С хлопком погас горящий фонарь. Глазам сразу стало непривычно темно от петербургского дневного света.

– Муся. Теперь по порядку.

Следовало, конечно, надавать ей по щекам. Она была в истерике.

– Сказали: только вас. Только вы.

Потащила меня к выходу. Я только и успела схватить со спинки кресла свой соболий палантин. Свою шляпу.

Я терялась в догадках. У Верочки не было повода меня любить. Более того, в ее ко мне высокомерном презрении я до сих пор была вполне уверена. Что же это вдруг? И почему она в Петербурге? Дело было, по всему, нешуточное. Что ж, решила я, – меня жгло любопытство, – Сашенька подождет. Ему не впервой. С тех пор как свою фирму в Москве открыл Ханжонков.

Мои ноги в трико тут же ужалил морозец. Я весело глядела на свои сандалии – на снег. Соболиный мех ласкал щеки.

– Извозчик... извозчик... – лепетала она.

И тут я все-таки дала ей пощечину.

Она захлопала глазами. Но заткнулась.

– Муся. Я еду с вами, даже толком не выяснив, в чем дело. Вижу только, что дело серьезное и личное.

Она закивала. Опять вцепилась в меня:

– Нельзя, чтобы видели. Нельзя!

Актрисы так называемых серьезных театров – жрицы искусства – помешаны на том, чтобы выглядеть весталками. А сейчас к тому же дело, похоже, было правда плохо, и Верочка дала горяше исчерпывающие инструкции. Я терялась в догадках.

Махнула рукой Мишелю. Он тотчас опустил на глаза очки – больше для форсу. Загремел мотор моей «Изотты». Такая машина цвета шампанского была только у меня. Сашенька был щедр. С тех пор как Ханжонков открыл свою фирму в Москве.

Горняша побелела. Если только можно было побледнеть еще больше. Глядела на машину словно на дракона.

– Нельзя!.. Она в опасности! Жизнь или смерть. Все должно быть в тайне.

«Подпольный аборт?» – подумала я, ставя ногу на ступеньку. Значит, поэтому она и прикатила из Москвы – к петербургскому абортмахеру. Шито-крыто. Дело плохо.

– Вот что, Муся.

Я продела булавку в шляпку. Накинула на колени меховой плед.

– Если увидят, как я тащусь куда-то на извозчике, об этом будет говорить весь Петербург. Нет. Только авто!

Она мешкала.

– Чтобы никто ничего не заметил, положи это на самое видное место.

Горничная тупо смотрела. Не понимала, что я говорю.

– ...Полезайте же!

Я стукнула в спину Мишелю. Горняша плюхнулась, потеряв равновесие, на подушки из шкуры белого медведя. И моя «Изотта» понеслась.

Мы пролетели мимо Петропавловской крепости. Потом по мосту. На Невском Мишелю пришлось давить грушу гудка изо всех сил. Наконец оказались на Морской.

Муся потащила меня к черному ходу. Я решительно шагнула к парадной двери. Ее уже распахивал швейцар. Если надо сохранить визит в тайне – не прячься!

Верочка сразу бросилась ко мне. Вне сцены она казалась бледнее и старше. Морщины вокруг глаз, губ, да и на лице как-то многовато лишней кожи. Что поделать, театральный грим старит быстрее, если не принимать особых усилий.

– Варенька! Вы одна мое спасение!

И взмахнула руками:

– Не спрашивайте, не спрашивайте.

Лоб в испарине. Крови было не видно.

Пока не видно.

– Едем, – быстро приказала я. В таких случаях нужно действовать быстро. Быстро и решительно.

Верочка запихнула в ридикюль черный замшевый мешочек. Муся накинула на нее шубу. Приколола шляпу.

– Я не могла одна... Туда, – лепетала она в авто. Я держала ее горячую руку. Вынула из рукава платок, промокнула ее лоб.

– Я никого не могла просить. Такое сомнительное дело... Только вас. Ведь вам нечего терять... К тому же вам не поверят.

«Спасибо, милый комплимент», – но я не дала своей руке остановиться – промокала ее лоб. Похоже, в горячке она не соображала, что несет – выкладывала то, что было на уме.

– А он...

Она дернулась, будто я приложила к ее лбу не батист с кружевами, а каинову печать. Я даже выронила платочек. Он исчез где-то у нас под ногами.

Я не спрашивала: «знает». Ясно, что не знает.

– Не должен знать... Он необыкновенный человек.

Даже за бурчанием мотора было слышно, как клацают ее зубы. Ох уж эти артистки драмы! У них все необыкновенно. Адрес был мне незнаком. Кто же ее любовник? Если такая деликатность, такая конфиденциальность.

Невский, мост, Петропавловка, особняк Мали Кшесинской промелькнули в обратном порядке. Адрес был фешенебельный: на Каменноостровском, в одном из этих модных гигантов, снабженных всем, вплоть до грузовых лифтов и электрических картофелечисток.

Щегольская секретарша провела нас в приемную. Доктор оказался французом. Верочку увели.

Я смотрела вниз сквозь двойное стекло – на Каменноостровский проспект: на поток извозчиков, шляпы дам, конки, мешанину прохожих. Скоро здесь будет теснее, чем на Невском.

– А вы?

Я обернулась. Секретарша улыбалась рекламной улыбкой. И это деликатность?

– Мне кофе. Благодарю, – холодно приказала я.

– О.

Она вернулась с кофе. И опять выжидающе засияла.

Я взяла чашечку с подноса.

– Ваш бюст выглядит превосходно, – заговорила она. – Но смею заметить, что нет предела совершенству и пышности.

В таком месте тебя неизбежно примут за содержанку. А может, дрянь просто позавидовала моей шубе.

Она раскрыла передо мной брошюру. Я не глядела, куда показывал ее наманикюренный пальчик. На что там глядеть? Стадии развития плода? Увольте.

А потом опять заговорила. Я не поверила своим ушам:

– Свиной – что?

Но тут уже вышла Верочка. Она старалась не глядеть на доктора. Тот ухмылялся – я бы сказала «сально», но не люблю дешевые каламбуры.

– Все превосходно. Небольшое воспаление, не более того.

– А если они... опять?

– Я выровнял форму и размер. Никакого беспокойства. Теперь можем считать дело законченным.

И многозначительная пауза.

Верочка не глядя подала ему замшевый мешочек. Доктор ловкими пальцами тут же развязал тесемку.

– Надеюсь, этого довольно, – бормотала Верочка; похоже, все обошлось, и теперь ей явно не терпелось уйти отсюда. А у доктора в горсти сверкнуло.

– Мадам, – сухо заговорил он. Бросил красноречивый взгляд на секретаршу. С ее лица тотчас пропала любезность. Оно стало суровым. Секретарша быстро прошла через комнату и крутанула в двери ключ.

Верочка беспомощно смотрела на доктора. Видимо, взгляд из спектакля «Волки и овцы». Спектакль я не видела, но взгляд точно был овечий.

– Платите.

– Вы... вы... Это бриллианты и опалы.

– Это стекляшки.

Теперь уже секретарша смотрела на Верочку как на вошь.

– Этого не может быть, – шла пятнами та. – Мне подарил их...

Имя впечатляло. Вот почему тайна: князь Ахтынцев ужасно разбогател на железнодорожных кредитах. Ему прочили министерский портфель. Но доктор был французом и, очевидно, плохо знал, кто в России кто: большой минус при его профессии. Я тотчас мысленно предсказала ему скорое разорение.

– Мадам. Платите. Или мы зовем полицию.

– Не может быть, – все шептала Верочка. Она была на грани обморока.

А стерва сняла телефонную трубку.

– Пойдите, – остановила ее я.

Вынула из ушей серьги. Уж в них-то бриллианты-солитеры были точно настоящие. Сашенька, с тех пор как Ханжонков открыл свою кинофирму в Москве, не стал бы так рисковать, как князь Ахтынцев... Француз и его секретарша обменялись взглядами. Я протянула серьги одной рукой, не глядя.

– Берите. Ну!

Жест был как надо. Жест римской императрицы. Про голос – не уверена. В кино не нужен голос. Ни у Сашеньки. Ни у Ханжонкова.

Тварь передала ему серьги. Он глянул. Взгляд опытного выжиги. И опустил в карман.

– А это я забираю. На память, – я сгребла из его руки ожерелье: стеклянные опалы, стеклянные бриллианты.

Схватила почти бесчувственную Верочку.

– Ключ.

Тварь отдала, робко оглянувшись на своего господина.

Мы вышли в прихожую. Я посмотрела в высокое напольное зеркало. Верочка была пунцовой, как драпировки в серьезном драматическом театре. И можно поклясться, ее краснота была полностью натуральной.

Только лишь она и была.

Что ж, за ее фальшивый бюст, наполненный свиным жиром, князь расплатился с Верочкой фальшивыми бриллиантами. А ведь мог бы настоящими, недоумевала я. Но видно, поэтому князь миллионщик, а я нет. Таким образом Верочкину связь можно назвать бескорыстной.

Это прелестно! Я расхохоталась.

Верочка недоуменно глядела на меня: не истерика ли?

Не могла же я объяснить ей, что меня насмешило.

– Грим, – показала на зеркало я. – Я уехала прямо с фильма.

Мое лицо покрывал толстый слой желтой пасты. Только она на пленке и выходит белой, как кожа.

Хотела вынуть платочек, промокнуть размазавшуюся пасту. Да вспомнила, что еще в авто его обронила.

Глава 2



«...Стало понятно, что...»

Палец завис. Пишмашинка скалилась на Зайцева стертymi коренными зубами, пережевавшими тонны отчетов, протоколов, заявлений. Наконец он нашел запропастившуюся букву «ж». Подковырнул запавшую клавишу. Треснул одиночный выстрел. «Стало понятно, что ж». Обе руки легли у подножия машинки, будто только того и ждали.

Лохматая голова Нефедова просунулась в дверь. Сонные глазки посмотрели. В них не мелькнуло ничего. Выражение было обычным – никаким. Посмотрел – и беззвучно пропал, как сова в дупле.

Руки так и не ожили. Две дохлые белые рыбины. Таким усилием воли можно было бы сдвинуть дом. Зайцев поднял руки, опять занес их над клавиатурой. Оттопырил указательные пальцы. Бумаги

машинка пережевала тонны, а печатать толком он так и не научился. Щелкал двумя пальцами. Его это устраивало.

Ж – что он хотел сказать? – мысль щелкала вхолостую. Он ее упорно натягивал на зубчики, а она так же упорно соскальзывала.

Зайцев посмотрел на зубы пишмашинки. Рассказ о закрытом деле казался ненужным, никчемным. Всё казалось таким. Тусклым. Словно в той поездке на юг, когда ловил убийцу рысаков^[1], он получил пробоину, и вот с год уже через нее уходили силы. Он ходил на службу, больше того – служил, ловил бандитов и не проваливал заданий. Но при этом то и дело настигало чувство, будто он отстает от самого себя: двигается и одновременно тупо смотрит со стороны, не понимая, зачем все это.

– Вася, ты оглох?

Зайцев чуть не подпрыгнул на стуле. Теперь в двери маячил Самойлов. Баки топорщились, придавали круглой самойловской роже нечто кошачье. Не сытый домашний кот, а из подворотни: у которого уши рваные, морда в старых шрамах, шерсть клочьями – а походка неслышная. И когти наготове. Со своими Самойлов их выпускал чуть-чуть – поддевал, подкалывал, но никогда до крови.

– Не дают покоя лавры Алексея Толстого? – тут же принялся за него Самойлов. – Или Льва? Роман там, что ли, пишешь?

– Чего?

– Успеется. Отлепляй задницу, писатель. Общий сбор трубили. Не слышал, что ли?

Не слышал, удивился Зайцев.

– На Красных Зорь жмур.

И не дожидаясь вопроса:

– Подробности письмом. Давай, подгребай.

Впрочем, вопроса он бы и не дождался. Зайцев поплелся к двери. Можно сбежать от скалящейся челюсти.

Одно хорошо: после той его южной командировки отношения в бригаде, вернее между ним и бригадой, снова потеплели. Стали почти как были. Насколько это возможно, когда в бригаде бывший гэдэушник и все думают, что ты тоже как-то туда впутался – то ли насадка, то ли сам под колпаком. Почти хорошие отношения, короче.

Мотор уже гремел. Все сидели по местам. Нефедов, как всегда, на отшибе. Зайцев опустился рядом на дрожавшее каленое сиденье.

Совиное личико не повернулось. Разговор не прервался. Впрочем, Нефедова в него и не принимали: он лишь слушал.

Зайцев нехотя подал голос:

– Кто убитый – уже известно?

– Убитая.

– Да.

– Нет, – все три ответа прозвучали одновременно.

– Актриска какая-то старая.

Зайцев откинулся на спинку, стал глядеть в трясущееся окно. Разговор взял философский поворот.

– Старая актриса. В этом есть что-то грустное. Нет? – Настроение у Серафимова, видимо, было философское. Опять с похмелья, предположил Зайцев.

– Чего грустно? Пожила до старости – пора и помирать, – проворчал Самойлов.

– Раз кокнули, значит, не пора, а помогли.

– Как посмотреть.

– Как ни смотри. Ножик в груди.

– Откуда сведения?

– Дворник. Он вызвал.

Автомобиль преодолел месиво проспекта 25 Октября. Выбрался на мост. Полетел на Петроградку между небом с косо висящими чайками и водой. Голубым на голубом сверкали купола мечети.

– Старые ведьмы обычно живучие. Уж мхом вся покроется, грибами, а всё коптит небо.

– Когда молодая жизнь обрывается, как-то обиднее.

– Жизнь есть жизнь, – строго произнес Крачкин. И все заткнулись. Автомобиль въехал – мимо дворника – в ворота с граненым фонарем на толстой цепи.

Зайцев вылез первым.

Дворник перебежал к парадной. И теперь стоял навтыжку там. Подждал подхаживших один за одним агентов.

– Это я вас вызвал, – торжественно сообщил он.

Зайцев замедлил шаг, задрал голову. Фасад был одновременно мрачным и щегольским. Такие дома любили строить как раз перед революцией. Тогда Каменноостровский – ныне улица Красных Зорь – пошел в рост, в моду.

На него сзади налетел, толкнул Самойлов. Рассердился:

– Вася, что ворон ловишь?

И обошел, как досадную помеху.

– Вы болеете? – еле слышно спросил Нефедов, не поворачивая головы.

– Я? – удивился Зайцев. – Нет. Ты чего, Нефедов?

Он догнал Крачкина, догнал Самойлова, Серафимова.

– Какой этаж, уважаемый? – обратился к дворнику.

– Так это... Ее этаж.

И пояснил загадочные слова понятным жестом:

– Тудыть.

Квартира была на третьем этаже. Когда-то самая дорогая и роскошная во всем доме. Зайцев посмотрел себе под ноги. Медные скобы в каменных ступенях говорили, что в дореволюционное время на лестнице лежал ковер. Крачкин закапризничал:

– Я лифт возьму.

– Ножки не несут? Чемоданчик ручки оттянул? Смотри, уволят со службы. За физической несостоятельностью.

– Не работает лифт, – прогудел дворник, топтавшийся тут же, совавший нос. – Слесаря вызвали, а он не идет.

Но Крачкин уже утопил кнопку, и в кабине, обшитой резными панелями, зажегся свет.

– Заработал, – удивленно отозвался на явление дворник, точно лифт был вроде радуги – никак не зависящей от воли простых смертных.

– А мне, Самойлов, ножки не нужны. – Крачкин шагнул в лифт, семейное сходство которого с фонарем во дворе было несомненным.

– Это тебе ножки нужны, вы за бандитами бегаете. А моя сила – здесь, – показал он себе на лоб. Лифт, лязгнув, понес его наверх.

Встретились на площадке почти одновременно.

– ...Но ты, Самойлов, конечно, не понимаешь, о чем я, – закончил свою мысль Крачкин. – Там у тебя ничего нет.

– Открывай, – приказал дворнику Зайцев. И тот с ключом поднырнул под локоть. Дверь в квартиру, высокая, резная, сестрица дубовых панелей в лифте, была испещрена табличками с именами жильцов: коммуналка. В каждой комнате – по семье, прикинул Зайцев. Всё как везде. Таблички с фамилиями жильцов были деревянные,

картонные, а некоторые и вовсе не таблички, а просто клочки бумаги. Только одна – богатая и медная. «В. Берг». Бывший владелец всей квартиры, надо полагать. Бывший адвокат, предположил Зайцев, или инженер. Революция от щедрот своих оставила ему одну комнату в его же бывшей – национализированной квартире. И наградила соседями.

В проем виден был холл и обширный коридор. Двери, двери, двери. Из кухни клокотала жизнь: негромко переговаривались, что-то хлюпало, пахло едой.

«Для квартиры, в которой лежит труп, как-то больно тихо», – не понравилось увиденное Зайцеву. Обычно жильцы норовили везде сунуться, все увидеть. Наперебой лезли с советами и подозрениями.

Он вошел. Соседи стояли на кухне – агоре любой ленинградской коммуналки. Тихо переговаривались. Умолкли, увидев гостей.

– Кто мертвую нашел?

Зайцев сознательно избегал слова «убитая», пока факт не установлен достоверно. Молчание.

– Я, – отозвалась немолодая женщина: куб юбки, на нем куб кофты. И сунула красный хлюпающий нос в скомканный платочек.

– Самойлов, – показал подбородком Зайцев: и без слов ясно – в первую очередь поговорить. Самойлов кивнул.

Зайцев задержался в дверях кухни. Оглядел. Важно схватить – не обдумывая – первое, самое острое впечатление от соседей, от жилья. На этой кухне порядок был безупречным. Ни хаоса разномастных столов и кастрюль. Ни веревок. Медный блеск утвари. Шкафы. Как будто и не коммунальная кухня, которую делят двенадцать семей и у каждой – свой достаток, свое хозяйство, свои привычки. Плачущей женщине уже подносили кружку. Об эмалированный край стукнули зубы. Обдумать можно потом.

Дворник отпирал комнату. Зайцев поспешил.

Нефедов, Серафимов и Самойлов замерли на пороге. Словно оробели. Из двери в коридор ложился клин дневного света, и все трое казались черными силуэтами. Зайцев встал четвертым. И понял, почему они не решались войти.

Некуда было.

До самого высокого потолка в лепнине комната была заставлена мебелью. Стулья на креслах. Кресла на столах. Тумбы на диванах. На

шкафах – растопырив негнущиеся ноги – какие-то кушетки. Шаткие зеркала и еще более шаткие ширмы. Вверх уходили горы, утесы, пирамиды. Топорщились ножки. Столешницы и стенки намечали тупики. В просвет мелькнуло бильярдное сукно – ставшее от пыли армейским, серым; шары напоминали окаменевшую кладку доисторического ящера. И снова непролазная чаща деревянных ножек разной толщины. Свисали какие-то бархатные, шелковые тряпки – то ли шторы, то ли платья, заткнутые куда попало. Да уже и непонятно было, где верх, где низ, где право, где лево – сплошной лабиринт, сложная конструкция из дерева, тугих шелковых валиков, бронзы. Поблескивала гранеными сережками люстра, она отражалась в покривившемся зеркале, на полированных плоскостях дрожали повсюду ее солнечно-бриллиантовые искры. Единственный просвет в мебельном хаосе соединял кровать и люстру как воздушная колонна.

Нестерпимо пахло пылью.

Первым справился Серафимов:

– Не дай бог на бошку что ляпнется.

Узенький – едва поставить ногу – проход вел к кровати. На ней и лежала мертвая старуха: под светлой шалью вздымались ступни, нос.

И торчала рукоять ножа.

– Трогали мертвую? – обернулся на дворника Зайцев.

– Никто не трогал, ваше выскблдие, – пробормотал дворник, которому зрелище причудливого лабиринта, очевидно, вышибло из головы последние пятнадцать лет.

Зайцев, Крачкин, Самойлов быстро переглянулись. А лицо-то накрыто шалью. Самойлов едва заметно кивнул: пощупать в разговоре с соседями.

Зайцев шагнул – и чуть не споткнулся о голову белого медведя, скалившую зубы. Саму шкуру не видно было под гнетом диванов, буфетов, козеток, шкафов.

Втиснулись и остальные. Они все поднимали подбородки, все вертели головами. Отчасти дивясь складу. Отчасти опасаясь шарахнуть обо что-нибудь головой или еще хуже – вызвать оползень.

– Коробочка, – высказался Серафимов. Весь белокуро-розовый, как вербный херувим, в полном соответствии поповской фамилии – слишком длинной, поэтому все в угро давно звали его Симой. Если бы у Зайцева спросили имя-отчество его сотрудника, он бы затруднился

сразу ответить. Сима и Сима. Бог весть как Серафимову и на службе в угрозыске удавалось выглядеть все таким же свежим, пасхальным: свидетели ему выбалтывали все. Таково, не без зависти подумал Зайцев, свойство больших круглых голубых глаз – все думают: дурачок. Серафимов тоже как раз начал ходить в вечернюю школу и там как раз проходили «Мертвые души» Гоголя.

– Плюшкин, – поправил его Самойлов, который начал туда ходить на год раньше. Иначе грозили срезать оклад. – То есть Плюшкина. А может, вообще старуха-процентщица.

«Преступление и наказание» Самойлов уже прочел.

– Что старость с людьми делает, – не удержался даже всегда молчащий Нефедов. Ему, как обычно, никто не ответил.

– Не дай бог до такого дожить, – пробормотал Серафимов. – Лучше пусть меня подстрелят в юные годы.

– Типун тебе на язык.

– Елки-палки, – Зайцев искал, куда бы поставить ногу. – Да как тут обыск-то вести. Тут бы не угробиться. Ног бы не переломать.

– Гляньте, – показал Крачкин. Стиснутый со всех сторон, виднелся рояль. На нем стояли и валялись, как давно упали и опушились пылью, фотографии в рамках. Все они изображали одну и ту же красавицу. Жизнь, которой давно уже не было. Моды, которые давно уже не носили. Она с густо подведенными глазами. Она в шляпе размером с колесо. Она в коляске, запряженной страусом. Она в авто. Она в обезьяньей шубе. Она...

Но сам Крачкин больше не смотрел на фотографии. Он озадаченно хмурился.

– Тьфу, – сказал Серафимов. – Как людям не стыдно?

– Правильно сделала. Зато в старости было что вспомнить, – выказал себя знатоком женской психологии Самойлов.

Взгляд Нефедова блуждал по горным нагромождениям мебели, нагая красавица в рамке не заинтересовала его.

– Тьфу, – повторил фотографии Серафимов, оправдывая поповскую фамилию.

Поднимая ноги, как журавли на болоте, все углубились в диковинную комнату. Наконец Зайцев добрался до кровати, на которой лежал труп. «Старая актриса. В этом всегда есть что-то печальное», – подумал он – в словах Серафимова была правда. На миг ему

показалось, что легкая шаль вздымается дыханием. Нет, конечно, показалось. Протянул руку и за уголок отвел шаль с лица мертвой.

Сердце у него ухнуло.

Не было старухи.

Прекрасное нежное лицо было спокойно. Волны волос. Тень от ресниц. Капризный рисунок губ. Белые холеные руки с миндалевидными ногтями. «Да ей от силы тридцать с хвостом. Ну, сорок самое большое», – оторопело разглядывал ее Зайцев.

Было жутковато. Как будто перед ним лежала гоголевская Панночка.

– Эх, – покачал головой Крачкин, – Сик транзит gloria мунди.

– Чего-о-о?

– Эх, Варя, – грустно-удивленно сказал Крачкин, глядя на убитую.

– Крачкин, знакомая?

Тот лишь покачал головой. Теперь у тела стояли все.

– Это же Варя Метель.

На него посмотрели Самойлов, Серафимов, Зайцев, Нефедов. Лица, как одно, напоминали костяшку домино «дупель пусто».

– Сопляки, – ответил Крачкин. – Вы даже не знаете, кто это.

Зайцев глядел на мертвое молодое лицо.

– Но хоть имя? Имя-то слышали? Вы что, в кино не ходили?

– Женский пол спрашивать надо, – пробурчал Самойлов. – Я такой галиматьей не интересуюсь.

– Думал, она померла давно, – пожал плечами Серафимов.

«Почему мы вообще решили, что едем к старухе?» – с досадой думал Зайцев, не любивший поспешных выводов – всегда вредных в работе. И сам себе ответил: потому что Россия, которая ее боготворила, ушла вместе со шляпами колесом, неуклюжими лупоглазыми драндулетами, адвокатами с Каменноостровского, своим кино. Ушла так быстро и полностью, будто всё это было очень-очень давно. А не каких-то пятнадцать лет назад.

Перед ними лежала Варя Метель. Теперь уже забытая звезда дореволюционных немых фильм.

Глава 3



Все зачарованно смотрели на мебельные кручи. На льдисто-бриллиантовую громаду люстры, под которой в столбе света плясала золотистая пыльца. Не могли пошевелиться.

– Ну что ж, товарищи, – разбудил сам себя и остальных Зайцев, – ножки, так сказать, в руки. Задача номер два: улики.

– А номер один?

– Выйти живыми.

Никто не двинулся.

Крачкин осторожно погладил пальцем полированную ногу в резных лилиях. Она торчала у него перед глазами. Но был ли это стул, кресло, трельяж или вовсе этажерка, не понять: туловище уходило

вглубь, задавленное деревянным хаосом. Крачкин растер между пальцев пушистую пыль. Перспектива двигать мебель его не радовала.

Зайцев вынул из кармана платок. Обхватил через него рукоять. Тянуть пришлось с силой – нож вошел глубоко.

– Орудие убийства у нас, по крайней мере, есть. Пакуй, Крачкин.

– А тело перенесли, – заметил Крачкин, принимая нож. – Не сама же она на кровать так легла.

– Угу. И лицо себе шалью накрыла.

– Нож тяжелый, – взвесил в руке Крачкин. Оглядел лезвие.

– В рукояти наверняка напайка. Серьезная штука... Ладно, поехали.

Принялись. Про покойницу, осмотренную (других ран на теле не обнаружено) и опять из деликатности накрытую шалью, быстро забыли. Не до нее. Работали медленно. Сперва пробовали. Потом расшатывали, как зуб. Потом проверяли, куда уходит и с чем сцепляется. Не потянет ли за собой какого-нибудь дубового монстра. Подвигали, поправляли, приподнимали. И только убедившись, что безопасно, тянули. Передавали по цепочке. На выходе вещь принимал милиционер Сарафанов, вызванный на подмогу. Обыск напоминал переезд комиссионного магазина. Разбор завала после наводнения. Разбор баррикады. Инвентаризацию в музее.

– Не забываем отмечать подозрительное, – прокряхтел Зайцев, удерживая угол полосатого дивана. – Собирать улики.

Пока что вещи просто ставили в общем коридоре. Огромном, хоть тренируйся для марафонского забега.

Вызваны были также недавно зачисленные Охотников, Кукушкин и Зак. Но они так и болтались пока в коридоре. Делали вид, что помогают Самойлову опрашивать подозрительно невозмутимых соседей. «Перенимали мастерство», как распорядился Зайцев. Протиснуться в комнату все еще было трудно.

Зайцев, Крачкин, Нефедов и Серафимов решили сначала выбрать и вынести то, что полегче. Освободить плацдарм. Потом – с помощью желторотиков – приняться за тяжелых гигантов: шкафы, шифоньеры, буфеты, диваны.

В воздухе висела пыль. Серафимов чихал звонко, с широким замахом головы. Крачкин издавал в согнутый локоть тихое «пст». Нефедов чихал, как мопс: «гр». У Зайцева от чихания заболел висок.

– Как она тут вообще жила?

Слова Крачкина о возможной причине смерти произвели впечатление. Легко верилось, что на покойную откуда-нибудь из-под потолка съехал шкаф. Вынырнуло из глубин забытое пресс-папье. Лягнуло рухнувшее с высоты кресло. В любом случае повторить ее судьбу не хотелось.

– Молодая еще баба, – недоумевал Серафимов. – И такой срач.

Хребты безумия, думал Зайцев, оглядывая уходившие к потолку массивы. Теперь уже к запаху пыли примешивался запах пота. Мебели словно не становилось меньше.

– Сумасшедшей она не казалась, – словно услышал его мысли Крачкин.

– Люди меняются, – быстро парировал Зайцев.

– Мистика.

– Что там, Самойлов?

– Мистики, Сима, никакой. Мебель – ее. Квартира тоже была ее. Квартиру уплотнили. Ей выделили эту комнату... Она поди перед уплотнением сунула дворнику четвертак, и всю мебель стащили сюда.

– Воображаю рожи соседей, – подал голос Серафимов. – Думали пожитьяся. А въехали в голые стены. А пищать и жаловаться поздно.

– Она что, надеялась, что советская власть откатит назад? И соседей выпрут? – откликнулся невидимый за баррикадами Зайцев. – А ты, Крачкин, говоришь, не сумасшедшая.

Крачкин не ответил. Многие тогда на это надеялись. Многие до сих пор надеются, подумал Зайцев.

Нефедов, приподняв край шали, смотрел на покойную. Он казался Германном у ложа Пиковой дамы.

Медики – чтобы забрать тело – были уже в пути.

– Чего лупишься, Нефедов? – не поворачиваясь, спросил Серафимов с козеткой в вытянутых руках. – Работа заломала?

Нефедов опустил шаль, протянул руки, принял козетку. Споткнулся, чуть не полетел с козеткой в вытянутых руках. Мгновения всем показались вечностью.

Но тот сумел выпрямиться, удержал равновесие.

– Елки-палки, – выдавил, придя в себя, Серафимов.

– Смотри, куда ступаешь. Ты б нас всех угробил, если б боднул эту стену, – заворчал Крачкин. – Смерть под диваном.

– Ты обо что споткнулся-то? – посочувствовал Зайцев.

– Тут что, мало обо что споткнуться можно? – ныл Крачкин. – Глаза разувать надо.

Зайцев поднял с пола шелковый поясок. Тот скользнул, распутив петлю.

– Извините, – проямлил Нефедов.

Козетка поплыла к выходу. Зайцев отбросил поясок от греха подальше.

Серафимов потянул за рога очередное кресло. В недрах зарокотало, заскрежетало. Все замерли, чувствуя, как бросает в пот. Опасались схода лавины. Убедились, что опасность миновала. Серафимов был красен по самые волосы.

Зайцев сглотнул:

– Ты, это, Сима, тоже... повнимательней.

– Товарищ Серафимов, это как играть в бирюльки, – наставительно произнес Крачкин.

– Какие еще бирюльки? – сердито буркнул тот в ответ. Легковесное словцо не понравилось ему. Зайцев попытался вспомнить, что он хотел сказать Серафимову: безуспешно.

– М-м-м, – промычал старый сыщик. Понимай, как хочешь.

– А ты, товарищ Зайцев? – нашел новую жертву Крачкин. – В бирюльки в детстве не игрывал?

– Мое детство, Крачкин, прошло на улицах, а не при дворе.

– Зачем сразу «при дворе»? Если, конечно, бирюльки не из драгоценных материалов и сделаны фирмой Фаберже. Но это не обязательно. Бирюльки можно и деревянные, и костяные. Нефедова я и не спрашиваю. Нет, спрошу. Товарищ Нефедов, вы знаете, как играть в бирюльки?

– Нет, – просто ответил Нефедов.

На Зайцева, как тошнота, опять накатило мерзкое, уже такое привычное чувство, будто отстал от самого себя: видишь руки, которые тянут кресло, но не сразу понимаешь, что руки – твои собственные.

Крачкин всё допытывался:

– Товарищ Сарафанов?

Тот промычал.

– Я так и думал: советская молодежь.

– Крачкин, прекрати трепаться, отвлекаешь, – огрызнулся Серафимов. Он нацелился на пузатый комод, поблескивавший бронзовыми ручками в недрах мебельной горы. Путь к нему преграждали полированные, резные буреломы.

– Я серьезно! – неожиданно горячо возразил Крачкин. И тут же поставил только что высвобожденный им стул. Сел. Забросил ногу за ногу. Зайцев удивленно посмотрел на него. Остальные деликатно воздержались от комментариев: старый сыщик просто-напросто устал. Работа не прервалась.

Крачкин вещал:

– Не ради отвлечения, между прочим. Сейчас я вам расскажу, как играть в бирюльки. Пока кто-нибудь нас тут не угробил. Игра, друзья, заключалась в том, чтобы насыпать горкой всякую дребедень... Совсем как здесь. Только без угрозы жизни.

Зайцев смотрел на свою руку, на бронзовый рогатый канделябр под ней. И никак не мог сообразить: то ли собирался взять, то ли только что положил. «...Вел», – услышал Зайцев свой голос. Испугался. Вытаращился на бронзовые рога. Не сказал ли он это вслух? Сердце бешено билось. Он глянул осторожно. Серафимов по локти – шарит в чем-то. Нефедов взобрался на уступ, как горная коза, пытается высвободить ломберный столик. Крачкин, кряхтя, перевязывает шнурки на ботинке: тянет время, чтобы отдохнуть.

Не вслух, понял Зайцев. Но глядел, как во сне. Когда сил нет двинуть ни рукой, ни ногой.

– О! – радостно воскликнул Серафимов. – В комод.

– Чего там у тебя? – приподнялся со стула Крачкин.

А Зайцев все не мог стряхнуть вялость.

– Дамские панталоны?

– Сам ты панталоны.

Серафимов приподнял пожелтевшие кружева.

– Вася, здесь письма, – посмотрев, позвал Крачкин.

– Ты что там, оглох? – нетерпеливо поторопил Серафимов.

– Приобщайте. Письма – это хорошо, – откликнулся Зайцев.

Серафимов принялся паковать улику.

– Кстати, о «приобщайте».

Крачкин отвернул пиджак:

– Вот.

– Что это?

– Трамвайный билетик.

– Я вижу, что не в театр билет.

– В лифте нашел.

И Крачкин торопливо уточнил:

– Может, имеет отношение к делу. Может, нет.

– Приобщай.

Зайцев принялся вынимать ноги из столпотворения предметов на полу.

– А ты куда?

– В уборную.

В коридоре соседи окружили Самойлова и желторотиков. При виде Зайцева оживились. «Но не слишком», – отметил он.

– Продолжайте, товарищи. Не отвлекайтесь. Любые ваши наблюдения, мысли, соображения помогут следствию.

Он быстро пробрался через них, по коридору – в гулкую уборную. В ней еще сохранилась узорчатая плитка. Нарядный ватерклозет стоял на львиных лапах. Для коммунальной квартиры – ослепительно чистый. Место общего пользования.

Зайцев открыл кран – две бронзовые розы. Принялся плескать себе в лицо ледяную воду. Как будто воспоминание, ворвавшееся без приглашения, можно было смыть, спустить в круглый ротик ванной – в ленинградскую канализацию. Сел на край ванны, ощущая через брюки его чугунный холод.

«...Вел», – повторяла за ней нянька. И нацеливалась щепотью на крошечную теннисную ракетку в колючем ворохе самой разной дребедени: тележек, елочек, портновских игл, кошечек, яблочек, леденцов, причем леденец был такого же размера, как елка.

«Well». Гувернантка-англичанка обычно побеждала: ее длинные ноготки подцепляли бирюльки там, где пасовали старушечьи пальцы.

«Вел», – говорили и дети, подражая няньке. А не гувернантке, как надеялись мама и папа...

«Черт знает что. Проснись, – приказал он себе. – Человек убит, – напомнил. – Пошел, ну».

Он стряхнул капли. Промокнул лицо рукавом. Спустил воду. «Даже шнур не оторван», – тупо удивился. Шнур был богатый: толстый и завершался шелковой кистью. Под звуки водопада Зайцев

отодвинул щеколду. И едва не ушиб санитаря. Прибыли медики забрать труп.

– Господи, – только и сказал один на пороге комнаты.

– Стало лучше, – заметил Серафимов. – Было куда хуже.

– Не пролезем с носилками.

– Сима, давайте выносить ее в коридор, – приказал Зайцев.

– Я ноги возьму, – вызвался Серафимов.

– Я тоже голову не хочу, – поддразнил Крачкин. Шутя. Но шутя лишь отчасти, услышал в его тоне Зайцев. Милиционер Сарафанов деликатно зашел за рояль, чтобы про него не вспомнили.

Им всем приходилось видеть трупы и похуже – в чисто физическом смысле. Воняющие самым страшным запахом на земле. С месивом вместо лица. Разложившиеся. В этой покойнице было что-то жутковатое в смысле отнюдь не физическом.

– Нефедов.

Нефедов послушно соскочил с уступа. Отряхнул руки. Зашел в изголовье кровати. Переложил руки мертвой на грудь. Взял ее под плечи.

– Раз, два, три.

Она была тяжелой, все мертвые тяжелые. Носилки лежали в коридоре на полу. Соседи стояли, как стадо овец: молчаливым кружком. Зайцев уловил движение взметнувшейся ко лбу руки: кто-то осенил себя крестом.

Серафимов опустил ноги убитой. Зайцев выпустил из рук туловище. Нашел в толпе соседей лицо Самойлова: нашел что-нибудь? Тот прикрыл глаза: да. Отлично.

Нефедов последним осторожно уложил плечи, голову. Потом опять приподнял шаль и посмотрел на убитую долгим взглядом.

– Красивая баба, – заметил один из медиков. – Свое отпрыгала.

К цинизму медперсонала обитатели квартиры явно не привыкли.

– Сам ты баба, – донеслось от стада соседей. Женщины загалдели:

– Это актриса знаменитая! Дикари... Типун те на язык. ...Я тя щас сама так отпрыгаю, зенки повылазят... Как вам не совестно, молодой человек.

Кем была их соседка, очевидно, знали в квартире все.

Медики поспешили поднять носилки, понесли к выходу.

Зайцев остановился на пороге комнаты. Следы их работы были, конечно, видны. Там и сям теперь зияли пазухи и провалы. Но хлам ужасал по-прежнему. «Они правы. Что искать в этом бардаке? Как понять, что пропало? И что здесь странно – если странно примерно всё».

– Зак, Охотников, Кукушкин. Подключайтесь.

Желторотики тотчас отцепились от Самойлова, просочились.

– Осторожно! Улики не затопчите, – задрезжал Крачкин, суя в руки Заку лампу с бахромой на абажуре.

Зайцев подошел к Самойлову.

– Ножик бы им показать – может, узнает кто.

– На самый конец оставь, – велел Зайцев. – Очень людей такие штуки нервируют обычно, а нам сейчас трагинервические явления ни к чему – нам нужно фактов побольше собрать. Где была, с кем встречалась, кто в гости приходил.

– Будут тебе факты, – усмехнулся Самойлов. – Сюда.

Женщина ждала их на кухне. Сидела боком у стола. И тотчас попыталась встать.

– Ничего-ничего, сидите, – отозвался Зайцев. Самойлов кивнул подбородком:

– Вот. Гражданка Синицына. Помогала по хозяйству...

Самойлов деликатно отпустил слово «...убитой». Синицына нашла тело.

Немолодая, тумбообразная, она тотчас спрятала руки под фартук и принялась разглядывать зайцевские ботинки.

– Как вас по имени-отчеству? – почти ласково спросил он.

Та подняла глаза, моргнула. Словно прикидывая, чем это грозит.

– Да Наткой зовите.

– Наталья, значит, – улыбнулся ей Зайцев. – Уж там, Наталья, наверное, уборки было – ух. Мебелей сколько.

– А вот и нет, – засуетилась Синицына. – Они не разрешали убираться. Пальцем не тронь.

– Что ж за хозяйство тогда такое? – изобразил удивление Зайцев.

– Известно. Булки не на деревьях растут.

– Это да. Пока по магазинам ноги стопчешь, в очередях настоишься, – поддержал разговор Зайцев. Всем этим для него

занималась Паша, но кого интересуют факты? Только уголовный розыск.

Наталья усмехнулась.

– Уж ты, можно подумать, сам и бегаешь?

– Нет, – признался Зайцев. – Мне некогда. А жены нет. Поэтому и жру говно всякое. То в столовке. То какое придется.

Взгляд Натальи впервые потеплел, в нем блеснули искорки – насмешки, интереса и сочувствия одновременно.

– Не. Они бы говно жрать не стали. Ты что.

– Еще бы. Артистка. Там все другое, – без насмешки согласился он. Самойлов еле слышно хмыкнул.

– Артистка, – оживилась Наталья. – Масло растительное – нет. Оно для кожи вредное. Только сливочное. А почему масло сливочное терь знаешь?

Зайцев не знал. Масло он видел только в столовской каше, но оно было машинным, не иначе. Однако кивнул.

– Во. Потом мясо. Колбасу она те жрать не будет. Мясо ей надо. Чистое. Чтоб ни жилки, ни жиринки. Курицу. Грудку постную. Да чтоб курица та не ГТО сдавала.

– Это как?

– Чтоб разжевать можно было. Не физкультурную. Нежную. Значит, к частнику катись. В ногах у него, падлы, валяйся. Знаешь, как трудно сейчас частника с курями найти?

Верно, частников-то налогами в последнее время прижали.

– А яйца – только свежие. С другими даже к ней не суйся. Да в день не меньше четырех штук. В неделю – две с лишним дюжины. Значит, еще частника с курями ищи.

Слова были сварливые, а голос – окрашен нежностью. Видно было, что хлопоты вокруг капризной хозяйки были для Синицыной смыслом жизни. Теперь утраченным. Зайцев решил немного повременить с расспросами о том, как она нашла тело.

– Повидло она тоже жрать не станет, – продолжала рассуждать Наталья. – Ей шоколад ищи.

Взгляд Самойлова стал острым. Как у пойнтера в стойке. Зайцев быстро на него глянул: цыц. И опять ласково – на гражданку Синицыну.

– Это ж какие деньжищи на это нужны, Наташа, – простодушно удивился он. – Чтобы питаться так. Что же, артисточка в кино снималась? В театре выступала?

– Ты что? Она отсюда не ногой.

– Как это? – встрял Самойлов.

Зайцев участливо наклонился к свидетельнице:

– Так-таки не ногой? Ну а в гости к друзьям, к родственникам? В кино там. Или на концерт. Да погулять просто, по улице пройтись.

Синицына помотала головой:

– Нет, она носа из дома не казала.

– Совсем, что ли?

Кивок.

– К ней приходили?

– Никто к ней не приходил! Ты что! – возмутилась Наталья так, будто Зайцев предположил нечто безобразное.

Самойлов сделал непередаваемую гримасу.

– Она так себе назначила, – пояснила Наталья. Что, впрочем, скорее напустило больше туману.

Зайцев быстро ответил:

– Понятно... Она не такая, как все. Нежная.

Нельзя было сбивать свидетельницу удивлением, недоверием или тем паче насмешкой. Синицына посмотрела на него с симпатией.

– Гордая. – Поправила: – Уж коль сама себе что решит, то не уступит.

– Наталья, только одно не пойму. Не выступала, не снималась, не служила, носа наружу не казала. И к ней никто не приходил. Откуда ж деньги?

– А цацки она свои продавала.

– Правда, что ли?

– Ну. Потихоньку в торгсин, в комиссионки.

– И часто она в торгсин ходила? – уточнил Зайцев.

– Ты что? Говорю же: не выходила она. Она ж артистка. Куда ей. Я ходила. Она даст. На тебе, Ната. Брошку там или колечко. Я и пойду.

Так-так. Это еще не след, так, только пунктир, но уже наливающийся теплом.

– Много ж у женщин цацок всяких.

– Кому как, – охотно заглотила тему Сеницына. – Артистам не так, как обычным, надо. Чего уж.

– Ты видела?

Самойлов чуть не подпрыгнул на месте.

– А то. В ящиках у нее лежало все. Позовет меня. Приду. А она сидит. Как елка разубранная. В зеркало на себя глядит. Что, грит, Ната, идут мне сережки эти? Вам, грю, всё идет. Хоть мешок из-под картошки нацепите. А она, значить, смеется. А я, грит, думаю, не идут. На вот. Снеси куда следует. Отдаст. А остальное обратно в ящик.

– А в какой? Там же ящиков этих... Покажешь?

Кивнула.

– Идем.

Коридор уже опустел. Желторотики – двое из ларца, одинаковых с лица, только у одного значок ГТО на футболке, а у другого нет – разогнали соседей по норам. «Молодцы», – мысленно похвалил Зайцев. Вернулись в комнату.

– Показывай, Наталья.

– Да вон.

– Вон там?

– Не. Ты на палец мой гляди, куда показываю.

– А чего пальцами тыкать. Ты, Наталья, подойди. Покажи.

Сеницына, уверенно лавируя между твердыми углами, прошла к роялю. Приподняла крышку. «Умело берет. Не впервой, – отметил Зайцев. – А может, впутана в хозяйкину гибель».

– Тута.

Зайцев заглянул в нутро инструмента. Бархатные коробочки. Квадратные. Круглые. Продолговатые. Большие. Маленькие.

Зайцев выхватил из кармана платок. Встряхнул. Через платок поднял бархатную крышку. Футляр был пуст.

Сеницына пошла пятнами. Челюсть у нее затряслась.

– Не брала я. Вот те крест не брала.

– Да ты, Наташ, успокойся. Знаю, что не брала.

– Я те матерью клянусь. Вон, к Ксении Петербургской пойдём, я те там поклянусь.

– Да я верю! Ты вот что скажи. Здесь что лежало? Обратила внимание, когда она тебе показывала? Помнишь?

– А то. Как не знать. Перлы в этой коробочке лежали. Каждый с гусиное яйцо.

– Врешь ведь? – позволил себе улыбку Зайцев. – Не бывает таких. Сеницына тоже чуть улыбнулась:

– Вру. Но вот такие, – она показала фалангу пальца. – С воробьиное. Не меньше. Крест истинный.

– А здесь? – он показал пустой круглый футляр.

– Корона. В прозрачных камушках. Веточки и листики.

– Диадема, значит, бриллиантовая.

– Брильянтовая, да. А здесь браслетка.

– Молодец, Наташа. Большое тебе спасибо. Вот ты товарищу Самойлову расскажи подробно, что где было. В каждой коробочке. А он запишет.

Самойлов взял ее под локоть.

Шум борьбы у входа отвлек их.

Желторотик Охотников висел на гражданине в клетчатом пиджаке:

– Куда? Нельзя!

Подскочил Зак, вдвоем они стреножили клетчатого. Тот не сдавался, извивался:

– Пустите... Кто здесь главный?

«На соседа не похож, – нахмурился Зайцев. – Родственник? Любовник?»

– Гражданин, вы препятствуете следственным мероприятиям.

– Вы главный?

– А вы, собственно, кто?.. Спасибо, Наташа! – успел крикнуть он в дверь. А Самойлову кивком головы напомнить: «тело, шаль».

– Не важно! Вы мемуары ее уже нашли?

– Самойлов, разъясни гражданина, – холодно распорядился Зайцев. – Имя, фамилию, адрес проживания, место службы.

Клетчатый сразу обмяк. Зак и Охотников уволокли его в коридор.

– Что еще за хрен? – удивился Серафимов.

Глава 4



Окна во всем автомобиле открыли – волосы, одежду трепал пахнувший рекой сквознячок. Но и он не помог. Ощущение въевшейся пыли было везде. На руках, в носу. Зайцев опять провел ладонями по брюкам: лучше не стало. Серафимов щупал пальцами царапину на виске: лягнула кушетка. Крачкин то и дело закрывал нос согнутым локтем: «псть», – как будто расставлял знаки препинания в рассказе Самойлова. Опрос соседей дал много – и ничего.

Не выходила.

Не навещали.

Таланту нужна тишина.

Нож никто не узнал.

Все сидели на привычных местах – как уселись однажды, раз и навсегда. Глядели то в окно, то себе под ноги. Машину потряхивало, и казалось, разговор потряхивало вместе с ней.

– Может, и врут соседи, – вещал Самойлов. – Только тогда очень хорошо сговорились.

«Псть!» – отметил Крачкин. И Самойлов добавил:

– ...Слаженно врут.

– Врут все, – устало вступил в разговор Зайцев. – Не во всем нужно непременно до правды докапываться. Есть важная ложь и не важная.

– Еще бы понять, где какая, – буркнул Серафимов.

– На такие вещи, Сима, чуйка вырабатывается.

– Хорошо. Пример, – не отстал тот.

– Чего?

– Какая здесь не важная, по-твоему?

– Враки Натальи этой, что она шалью не накрывала хозяйку, – не раздумывая привел пример Зайцев. – Шаль на убитой была – нож на груди сквозь нее прошел.

Ответ Серафимову не понравился – слишком очевидный:

– Что лежало тело не так – ясен пень.

– Не ясен, – возразил Зайцев. – Может, во сне ее убили. Эксперт скажет точнее, но похоже, ночью это случилось. Тогда и поза спокойная объясняется. Но вот лицо накрытое – это, конечно, Натальяина работа.

– Почему знаешь?

– Психология. Обихаживать она ее привыкла. Дворник за телефон. А она, значит, лицо накрыла – жест последней заботы.

Крачкин не выдержал, вмешался:

– Товарищ Зайцев свистит. В психологии он ни бельмеса. Он пятно свежесмытое на полу заметил.

– Ну тебя к черту, Крачкин. Кончай авторитет мой подрывать.

Крачкин выдавил смешок.

– Не помню я пятна, – удивился Серафимов.

– Не помнишь, потому что я на него сразу стул поставил и сверху сел, – заявил Крачкин: – Чтоб ножищами вы своими улики не

затоптали.

Самойлов, который не двигал мебель, а допрашивал соседей, пропустил всё – и сейчас внимал разговору с видом человека, который пришел к середине анекдота:

– Чего за пятно?

– Яйцо, – пояснил Крачкин. – Мыла в спешке – по разводам и кусочкам скорлупы судя. Она правду сказала: принесла сырое яйцо, как обычно. Глядит: а хозяйка-то мертва. Яйцо выронила. И с этого момента уже нам врать начала.

– Ну накрыла ей лицо и накрыла. Это для дела не важно, – подвел черту Зайцев.

– Как так можно жить – и из квартиры не выходить? – раздраженно пожал плечами Серафимов, не любивший людских странностей. – Все-таки она была того. Ку-ку.

– Почему бы ей дома и не сидеть? – возразил Самойлов. – Раз соседи за нее все делали, для чего обычный человек на улицу выходит. По магазинам бегали. Газеты приносили. Одна баба за одеждой ее следила. Гладила и так далее. Туфли сапожнику относил. Другая ей прически наводила. Маникюр и так далее. ...которая маникюр, кстати, вообще профессорская вдова. А мужик с пузиком, комната возле сортира, тот зубной техник, и он ей зубы прямо на дому чинил. На таких условиях я бы и сам засел.

– И что б ты, интересно, целыми днями делал?

– Книжки читал.

Зайцев фыркнул.

– Чего? – обиделся Самойлов. – Между прочим, попадаются интересные.

Серафимов покачал головой:

– Еще один свистун. Гляньте.

– Я не насчет книжек сомневаюсь, Самойлов. Что не выходила совсем. Рассказывают – соседи? – уточнил Зайцев. В вопросе содержался ответ.

– Я им скорее верю, – возразил Самойлов. – Пока не получил повода убедиться в обратном.

– А ты всегда знаешь, брешет свидетель или нет, – тут же поддел Серафимов. Самойлов перехватил вопросительный взгляд Зайцева. Ответил как бы нехотя:

– Со временем, Сима, на это чуйка вырабатывается.

– Или не видели они, как она входила-выходила, – думал вслух Крачкин. – У дам бывают секреты.

Самойлов ухмыльнулся. Запустил пальцы в бакенбарду. Козырь в рукаве, понял Зайцев.

– Соседи – и не видели?! – почти в один голос набросились на него остальные. – Крачкин? В коммуналке?! Да там перднуть нельзя, чтоб соседи не узнали.

Самойлов подождал, пока все смолкнут.

– Верю я соседям. Не увидел я у нее среди барахла тряпок подходящих. Все какие-то платья с хвостами. Такое сейчас никто не носит.

– Ух ты, Самойлов, – искренне восхитился Зайцев. – Вот это – действительно факт! Жирный, увесистый.

Самойлов надменно кивнул – мол, еще бы. Но Зайцев заметил и довольную полуулыбку.

– Больно ты знаешь, что бабы носят, что нет, – так же искренне удивился Серафимов. И тут же потянул разговор за другую нить: – А я другой коленкор не пойму, честно говоря. Вся квартира в услужении одной жилички?

– Не жилички, а артистки, – поправил Крачкин и опять вздернул локоть к носу: псть!

– В добровольном, заметь, услужении. Только они это, конечно, так не называют.

– А как?

– Помощь.

– Странное поведение. Не выходила... Ни с кем не встречалась. Даже с цацками в торгсин Синицыну эту посылала. Она что, от кого-то скрывалась? Что, если убийца ее все-таки выследил.

– Это ты в Нате Пинкертоне вычитал?

– А что?

– Актриса. Вот что. Псть.

– Ты, Крачкин, пояснее выражайся.

– Куда яснее. Мечта, дети мои, не может стоять в очереди. Толкаться на рынке – не может. Селедку покупать – не может. Ей селедка и не нужна. Она не ест вообще. Не может носить туфли сапожнику. Сидеть в парикмахерской вместе с другими гражданками и

всем показывать свою завивку перманент. Ей не нужна завивка. У нее нет мозолей. Нет морщин, потому что мечта не стареет. У нее не болят зубы. А главное, дети, мечта – не стареет. ...Псть!

Самойлов воспользовался запинкой:

– Зубы болят у всех. У гражданки Берг тоже.

– А у Вари Метель – нет.

Самойлов фыркнул и покачал головой. Зайцев вздохнул:

– Я понял, Крачкин... Грустно это.

– Я не понял, – воинственно поддержал своего обычного соперника Самойлова Серафимов.

– Она не хотела, чтобы ее кто-нибудь сейчас случайно увидел – и узнал. Сравнил с прежней. Из артистического самолюбия не хотела. Как там Синицына сказала: гордая. Уж она поди изучила характер повелительницы своей.

– Да кто бы ее сейчас узнал? – Серафимов удивился искренне. – И фильмы-то такие уже давно не крутят.

Крачкин хмыкнул.

– Они всегда в голове у тех, кто их видел, – возразил Крачкин: – ...Я с тобой, Вася, в кои-то веки согласен: грустно... Псть.

Только Нефедов молчал всю дорогу. Впрочем, ему никогда не отвечали, и он привык – без необходимости не заговаривал.

– Причалили, – сообщил шофер и остановил мотор.

Выгрузились.

– Ножик сразу на пальчики проверь.

– А то.

– Не удивлюсь, если к ним пара отыщется с тех, что на рояле сняли. Где она цацки свои хранила.

Прошли в прохладный вестибюль. Дежурного не было видно за газетным листом, который спиной сообщал что-то про германский рейхстаг и канцлера Гитлера, – Зайцев глянул вскользь.

– В мире все спокойно? – съязвил Крачкин.

– Завершился автопробег Ленинград – Москва – Ленинград, – спокойно отозвался дежурный. Выглянул.

– Привет, Савостьянов, – бросил Зайцев. Но тот был слишком увлечен – продолжал:

– Опытные дальнедорожные восьмицилиндровые лимузины Л-1 «Красного Путиловца». И несколько иностранных разных лет, для

сверки.

«Ну нахал», – покачал головой Крачкин. Савостьянов и не заметил. Как ни в чем не бывало перегнул лист – сверился с глазастыми мордами автомобилей на фото, стал водить по снимку пальцем:

– «Паккард», «Паккард», «Пирс эрроу», «Испано сюзиза». «Студебеккер», – палец передвинулся на машину с рылом без решетки: – «Изотта-Фраскини». – Чиркнул дальше: – Еще одна «Сюзиза».

Мир автомобилей влек его куда больше, чем мир ленинградских правонарушений.

– Всё в порядке? – елеино-ядовито поинтересовался Крачкин. – С моторами?

– Только «Изотта» крякнулась – сошла. Но там понятно, старый драндулет, ей...

– Дома читать будешь! – разозлился Зайцев.

Савостьянов вскочил, выронив шуршащий лист.

– Приказано подготовить пятиминутку политинформации, – отрапортовал.

– Кем? Какую? – не понял Зайцев.

– Теперь перед началом каждого рабочего дня полагается, – объяснил дежурный. – Всем по очереди. Сообщения о международной обстановке и обстановке по Союзу. Вон график висит... До вас тоже очередь дойдет, товарищ Зайцев, – заметил Савостьянов садясь. Мол, не так запоете.

– Полагается... – Зайцев подошел к листку с плоской шапочкой кнопки. Увидел подпись товарища Розановой. Комсомольские затеи. Нашел свою фамилию. И опять чихнул. Обычно в вестибюле пахло грязной тряпкой, которой уборщицы тщетно наводили чистоту на истоптанных плитках. Но сейчас Зайцеву показалось, и здесь – пылью из комнаты актрисы.

– Все равно, Савостьянов. Комсомольская работа – это важно. Но и служба, между прочим, тоже. Не в булочной служишь. Повнимательнее.

Даже Туз Треф, умильно сидевший на собственном хвосте, пока проводник дул в дежурке чай, и тот пах не псом, а рассохшейся мебелью, пожелтевшей хрупкой бумагой, нафталином. Хотелось

скорее в уборную – вымыть лицо, руки. Туз Треф вывалил в знак приветствия розовый язык, замел хвостом по плиткам. Но никто не остановился, и хвост снова обернулся вокруг зада.

Самойлов, Крачкин, Серафимов поднимались по лестнице. Желторотики взяли трамвай – отстали.

Зайцева кто-то потянул за рукав.

– Ты чего, Нефедов?

Зайцев видел, как с лестницы покосились трое остальных: заметили запинку. Во взглядах Зайцев успел прочесть мгновенное: «крыса». С того дня, как Нефедова перевели к ним, еще никого не арестовали, но это ничего не доказывало: доносы, отчеты могли собираться месяцами, годами. Совиное личико Нефедова оставалось все таким же сонным.

– Не нашел себя в графике политинформации?

– Погодите.

– Ну.

– Я ее видел. Варю эту Метель.

– Я заметил.

– Я ее в цирке видел.

Зайцев убрал ногу с лестницы, руку с перил.

– Что ж сразу не сказал?

– Давно, – уточнил Нефедов. – Когда мы сами номер работали.

– Когда Икаром был?

– Сыном, – поправил Нефедов. – Наш номер назывался «Икар и сыновья».

– Ладно-ладно. Я помню. Просто шучу так неуклюже. ...Ну, дальше.

– Только она тогда себя называла не Метель и не Берг. И волосы красила. Они у нее черные тогда были.

– Может, она рыжие – красила. А черные были настоящие.

Совиный взгляд.

– Извини. Опять шучу. Ты не ошибаешься ли?

– Я теперь не сомневаюсь: она.

В вестибюль вошел мужчина в чесучовом костюме. Зыркнул на них. С куда большей опаской – на Туза Треф. Нырнул к дежурному, вернее, газетному листу.

– Так странно... – задумчиво добавил Нефедов.

«Ну, Савостьянов, погоди», – Зайцев снова повернулся к Нефедову – но так, чтобы держать дежурного на краю окоема. Перебил ободряюще:

– ...Хорошие сведения. Молодец, что вспомнил. Объясняет, как ей к пятнадцатому году советской власти удалось не все драгоценности свои проесть.

Но Нефедова, похоже, обуяли воспоминания:

– Она работала в номере с Ирисовым-Памирским.

– В то время, Нефедов, многие делали странные вещи, чтобы прокормиться.

Зайцева куда больше занимал настоящий момент: дежурный приподнялся из-за загородки, показал посетителю пальцем на лестницу.

Чесучовый костюм бросился на лестницу – нет, к Зайцеву:

– Товарищи... Товарищ...

Выпорхнул платок, промокнул потный лоб. Шляпу посетитель зажимал под мышкой.

– Гражданин, вам чего? – рассердился Зайцев. – Савостьянов! Ты чего распускаешь население?

– А ему к вам! – донеслось невозмутимо.

– Я к вам... к вам!

– Ну так сядьте вон там и дождитесь, пока запишут...

– Я записал! – тут же огрызнулся дежурный.

Мужчина, задыхаясь, схватил его за обе руки, точно собираясь танцевать с Зайцевым польку-бабочку. Глаза беспокойные. С шумом вырывалось дыхание, обдавая Зайцева запахом больного желудка:

– Вы... Вы... Вы мемуары ее – нашли?

* * *

«ЖЕМЧУГ СНИТСЯ К СЛЕЗАМ»

– Но я тоже хочу! – повторил он.

Мне он понравился, этот мальчишка и его бесконечные «хочу». Богатые люди редко чего-то хотят. Точнее – почти всегда не хотят

ничего. И, как назло, липнут к актерам и актеркам. Как будто надеются отогреться чужим теплом, чужим весельем.

Но этот был еще живой, еще теплый. Наверное, потому что младший. Вот старший брат был не такой. Старший уже знал всё: что можно, как надо. Просто-таки знал всё. Скучно. Но ссориться я не хотела.

– Есть же другие места. Не обязательно к «Медведю», – напомнила я старшему, но он все гнул:

– Гимназистов туда не пускают.

Младший не сдавался:

– Но я хочу! Хочу с вами!

Только что ножкой не топает. Красивый капризный мальчик. Прелесть. Я его понимаю: когда еще в его жизни будет «нельзя»! Наследник крупнейшего состояния России. Разделит с братом, но все равно получится столько, что простому смертному и не вообразить.

А пока подчиняйся дурацким общим правилам. Пока делай, как старший брат скажет:

– Нет.

– Пойдите, – я поднялась. Прелестные серые глаза блеснули надеждой.

– Гимназистов не пускают, – всё нудел старший брат.

Я люблю избалованных людей. Они милосерднее. Понятно, что милосердие их недорого стоит. Но все же. Дешевое милосердие все равно милосердие. Я не из тех, кто гнушается калачиком только потому, что цена ему копейка. ...А вот суровых людей – боюсь: им ни себя не жалко, ни других.

Я поставила пуфик напротив мальчика. К самым его коленям. Нашла все нужное в ящике у зеркала: полные горсти.

Села на пуфик, расставила ноги и высыпала все в натянувшийся подол. Оба брата недоуменно уставились на баночки, палочки, кисточки, коробочки.

– Что это еще?..

Я и ухом не повела. Мужчины никогда в точности не знают, что есть что, но что такое пуховка, поняли оба. Я сдула в сторону лишнее. И приказала:

– Закройте глаза.

Серые глаза с готовностью закрылись.

– О, нет, – сказал старший. – Вы это не серьезно. Это не может быть серьезно.

– Я дьявольски серьезна, – успокоила я.

Коленьями я чувствовала жар его коленей. Слушала его сдерживаемое дыхание. Чистое дыхание мальчика, которому с первого в жизни молочного резца доступен лучший в столице, во всей Европе зубной техник. Дыхание ребенка, развязывающего бант на рождественском подарке. Когда еще я смогу побыть доброй феей? Пыльца осела на плечах, на спине.

– Вы испортили ему гимназический мундир.

Вот зануда.

– Он ему сегодня не понадобится.

Я румянила нежные щеки. Он и бриться, наверное, еще не начал. Накрасила карминовым lipstickом мягкие маленькие губы.

– Теперь не дышите, – приказала. – Смотрите вверх.

Серые глаза доверчиво вздернулись к потолку.

Глаза светлые – совершенно не годные для кино, невольно отмечаю: на пленке такие выходят совершенно белыми, жуткими – бельма с черными гвоздиками зрачков. Глаза у него прозрачные, а ресницы – черные. Я принялась чернить их еще больше. Чернить и закручивать. Прикасалась крошечной круглой щеточкой и любовалась: на котиковые брови, прелестные и четкие. На безмятежный лоб. На чистые белки, которые еще не замутило ни пьянство, ни бессонные ночи. Бровям я тоже добавила черноты. Сейчас так модно. Ничего не поделаешь. Приличные дамы вольны презирать актрисок. Сколько угодно. Но подражают – все равно нам.

– Я умываю руки, – подал голос брат. Но уже слышно было, что и ему самому не терпится увидеть результат.

Я поспешила карандаш. Он перестал дышать.

– Не бойтесь, не выколю.

Потом растерла линии пальцем. И наконец поднесла зеркало. Он принял его, не отрывая от амальгамы изумленных дымчатых глаз. А потом перевел их на брата. Тот махнул рукой. Но не выдержал, расхохотался. Мальчик осторожно улыбнулся красными темными губами, будто опасаясь, что новое лицо от неловкого движения лопнет, пойдет трещинами и осыпется, как маска.

Я надавила резиновую грушу. Спрыснула свою Галатею духами «Коти». И торжествующе возвестила:

– Куда не пускают гимназистов, всегда пустят хорошенькую девушку!

Мы подкатили к «Медведю».

Старший брат подал руку мне. Потом – с той же джентльменской серьезностью – юной даме, что вышла следом, царапнув пером верх авто.

Он, точнее, она поправила соболью шубу на худеньких плечах. Осторожно потрогал, то есть потрогала волосы. Парик подходящего цвета у меня нашелся: остался после фильма «Замок Тамары». За чулками, туфлями, платьем, шубой братьям пришлось прокрасться в материнский гардероб. Но зимой в Петербурге ночи длинные. Опоздать невозможно. Когда мы вошли в зал, вечер весело трещал, нас обдало ропотом ужинающих. Угорал цыганский оркестр, под стоны скрипок млели пальмы. На высокой стеклянной крыше можно было разглядеть снег. Но под ней – тропики.

...Домой пришлось съездить за платьем – и драгоценностями. Когда она распахнула шубу, брызнули бриллиантовые искры. Постукивал о колени крупный жемчуг: такие длинные тяжкие ожерелья вошли в моду после одного балета на восточную тему. Но у княгини – спавшей сейчас в своем особняке на Мойке мирным сном матери взрослых сыновей – он, уж конечно, не был бутафорским.

И в тот момент я поняла, почему старший брат так рвался сегодня в старый добрый, то есть давно всем надоевший «Медведь». Говорят, что старая любовь не ржавеет, и я добавлю: в каждой банальности только доля банальности. Он буквально врос в пол и вытаращил глаза.

Госпожа М. его тоже заметила. Она стала белее скатерти. Мгновения длились вечность. Потом она поспешно пробормотала что-то своим спутникам за столом и даже сумела выдавить улыбку. Не знаю, который из них был ее мужем: тот с серебристой бородой или тот с длинным носом. Оба закивали. Торопливо поднялась. Оправила платье. Заспешила туда, за пальмы, где располагались уборные. А старший брат уже шел за ней, не сводя отчаянных глаз.

Мы с младшим переглянулись. Мы остались одни. На нас уже поглядывали подавальщики за стойкой бара. Поглядывал метрдотель.

Большинство круглых, на американский манер табуретов у стойки были пусты. Надо было или садиться, или проходить в зал. Для гостьи без спутника (никто же не знает, что прибыла я в ресторан сравнительно приличной дамой – а спутника лишилась несколько секунд назад) оба выбора равно плохи. Я все-таки не настолько забросила чепец за мельницу.

Что же делать? На миг я совсем забыла наш маскарад. Он снова был для меня мальчишкой, гимназистом, увязавшимся за старшими.

– Ждите здесь, – велела я.

И тоже двинулась – мимо бутылок, мимо табуретов, мимо косых взглядов халдеев – к пальмам и фикусам, целомудренно маскировавшим вход в уборные.

Я успела застать лишь последние восклицания. Он держал ее за руки.

– Авто у подъезда.

Пальмы и фикусы скрывали не только уборную. Но также второй выход. Закрытые двери отдельных кабинетов выходили сюда же и притворялись слепоглухонемыми. Сколько тайн за их сомкнутыми устами? Посетители кабинетов часто хотят выскользнуть из ресторана незамеченными – через второй выход, который тут же к вашим услугам.

...Она в муке закрыла глаза. Он так и прожигал взглядом ее сомкнутые веки. А потом она кивнула.

Видимо, мужем ее не был ни тот с седой бородой, ни тот с длинным носом. Или же она только что закинула за мельницу не только чепец, но также чулки, корсет и панталоны.

Впрочем, какой риск? Если твой возлюбленный – наследник самого большого состояния России, то за мельницу может лететь вообще любая деталь туалета: такие деньги купят все. В том числе и твое равнодушие к общественному мнению. То есть ядовитым плевам дам, которые скрывают свои шашни куда ловчее.

Однако мы остались не только без спутника. Но и без авто.

Я тотчас пообещала себе, нет, поклялась – с первых же бешеных денег купить себе собственное авто. Точно. «Изотту-Фраскини». Но что делать прямо сейчас, признаться, не знала.

Оправила перед зеркалом волосы. Подкрасила губы. И вернулась в бар. По углам стояли халдеи с салфетками.

В первую секунду я решила, что младший брат тоже сбежал.

А потом заметила юную красавицу на высоком табурете. Склонив прелестную головку в парике из «Замка Тамары», она внимала какому-то грустному козлобородому господину. «Какой хороший парик, – отметила я. – Зря я его сама не ношу».

Взмахивали длинные ресницы. Вздрагивали темные карминовые губы. Покачивалась в белых пальцах нить тяжелого жемчуга. Грустный господин склонял бородку к прелестному мальчишескому ушку в маминых бриллиантах.

Мне стало любопытно, что он там ей, то есть ему, плетет.

Я непринужденно пошла, как бы мимо. Но выронила ридикюль. Из него тут же выкатились lipstick, пудреница. Потому что я предусмотрительно раскрыла застежку, прежде чем выронить ридикюль. Но козлобородый во фраке даже не повернулся. Его красotka даже не двинулась. Халдеи бросились на помощь. Все три, что стояли по углам с салфетками.

Господин с бородкой взял нить жемчуга ловкими пальцами.

– Вот так... потом накидываете вот так... потом достаточно лишь дернуть и...

С тихим стуком узел распустился, тяжелая нить закачалась. Мальчик попробовал повторить. Не получилось. Господин забрал нить в свои ловкие пальцы – так что кудри парика чуть ли не щекотали его многомудрый лоб в поперечных морщинах.

– Смотрите... вначале петлю... потом сюда... сюда...

Я обратилась в слух.

– Раскрепощение духа чувственности...

Ну да, ну да.

А потом до моих изумленных ушей донеслось:

– ...поможет выплеснуть этот сгусток на дело победы социализма. Сам Ленин писал. Товарищу Троцкому. Сексуальное угнетение есть главное средство порабощения человека... Теперь просто дернуть и...

Узел распустился. Нить свободно закачалась. Маленькая ручка в перчатке перехватила ее.

Имена эти в газетах мне попадались: вожаки стайки большевиков. Значит, и этот... Большевик во фраке? Интересная комбинация. Большевики представлялись мне горсткой расхристанных крикунов.

Но этот фрак носил привычно. Бородка холеная. Я определила: посланник? Секретарь посольства? И при этом – большевик?!

Теперь они налаживали узел в четыре руки.

– Семья как буржуазный институт себя изжила.

Госпожа М., стало быть, большевичка. В душе. Вот бы она удивилась.

Халдей подал мне ридикюль:

– Пожалуйста.

Я заглянула внутрь.

– А коробочка с пилюлями?

Халдеи озадаченно переглянулись.

– Ах, она, должно быть, закатилась особенно далеко. Маленькая, серебряная.

Халдеи снова стали прочесывать лес табуреточных ножек в поисках кругленькой серебряной несуществующей штучки.

Я опять слушала жаркое, смотрела на танец четырех рук вокруг жемчужной нити:

– Все запреты, касающиеся сексуальности, должны быть сняты. Даже запрет на однополую любовь должен быть снят.

Красотка издала нечто вроде «м-м-м-м».

– ...теперь просто дернуть... И нет узла.

Тяжелое шуршание жемчуга.

– Поняли?

Уже даже я поняла, как завязывать.

– Не совсем, – взмахнула ресницами красотка. Слабость в женщинах очаровательна.

– Ленин полагает, пока существует такое угнетение, не может быть настоящей свободы.

Неплохо. Господин во фраке агитировал сразу и за большевиков, и за собственную постель! Но как он догадался, что перед ним – не дама?

И тут я увидела, что моя красавица замороженно сползает с высокого табурета. Глаза глядели в глаза. Последней по табурету соскользнул подол собольей шубы. Пора было вмешаться взрослым.

– Ах, вот и моя таблетница! – громко сказала я лакеям.

С улыбкой шагнула вперед, тронула фальшивую даму по плечу, расшитому настоящим серебром:

– Вы не представите мне вашего собеседника?

Тот от неожиданности чуть не перецепился за американский табурет. И несколько секунд гадал: что я успела услышать. А потом изысканно поклонился:

– Георгий Васильевич Чичерин. Друг отца этой барышни.

Придумал на ходу. Не хуже и не лучше других выдумок на ходу. «Барышня» открыла было рот, но передумала – закрыла. И снова задвинула зад на круглое сиденье.

Господин Чичерин сделал знак подавальщику за стойкой. Хлопнула пробка.

Мы разговорились. Мне он показался даже симпатичным. Грустным. Но симпатичным, насколько таковым можно найти мужчину, которого не интересуют женщины.

Плохо помню, как он исчез. Как подошли те, другие. Как мы оказались в отдельном кабинете шестером. Две дамы и четверо мужчин. Точнее, одна дама, четверо военных и один накрашенный гимназист в мамином платье. Когда проскочили мы остановку, когда еще можно было сойти?

Хмель слетел с меня в одно мгновение, когда дело стало плохо. Очень плохо. Питомцы Марса распалились и больше напоминали сатиров. Уже мелькнул распаленный уд.

Не знаю, что было бы хуже: если бы он был настоящей девицей или если бы они обнаружили в платье мальчишку. Настолько ли они были пьяны?

Но узнать было не суждено. Гимназистик вывернулся из собольей шубы, оставив ее в руках сатира. Стремительно перескочил к столу. Схватил бутылку шампанского и жахнул ею в зеркало. Бах! Брызнули, посыпались осколки, пошла пена. Он выиграл несколько мгновений. Метнулся к двери, оттянул задвижку. Я успела только почувствовать, как он на бегу цапнул меня за руку, потащил. Сатиры хапнули воздух. Увы, не только. С лопнувшей нити, как крупный град, посыпался жемчуг. Но уже на шум бежали лакеи. А нам под ноги летели ступени черной лестницы.

...Потом косо бил в лицо снег. Истуканом сидел толстозадый лихач. Мы оба трясли плечами от холода. Медвежья полость грела. Но не так, когда вы сразу до смерти напуганы, все еще пьяны и уже без шубы морозной петербургской ночью.

Я не выдержала и захохотала. Он тоже.

Мы обнялись, чтобы согреться друг о друга. Некоторое время слышали только, как равномерно бьет копытами рысак. Вдыхали запах коньяка и шампанского, вырывающийся облачками из наших ртов.

– Грустно, – вдруг сказал он.

– Из-за жемчуга? Не волнуйтесь. У «Медведя» обрונים, не на Сенной. Жемчуг соберут лакеи, и управляющий будет ждать, пока вернется владелец. Владелица.

Я уже сама запуталась.

– Уф. Надеюсь, что нет. Матушка не выдержит, если узнает. А отец...

Помолчали. Лихач закладывал поворот.

– Грустно от несправедливости человеческой.

Так-так. Господин Чичерин успел вовлечь его в большевизм?

– И что с того, что кто-то любит иначе? – продолжал, стуча зубами, развивать свою мысль мальчик. – Однополая любовь – это одно, а любящие – это совсем другое.

– Он что, агитировал вас... в большевизм? Не верьте. Его интересуют деньги. Вы слышали, что случилось с московским миллионером Морозовым?

– Такими их природа создала, – словно не слышал он.

О. Похоже, напрасно мама и папа в особняке на Мойке будут ждать наследников – с одной стороны, и законных – с другой.

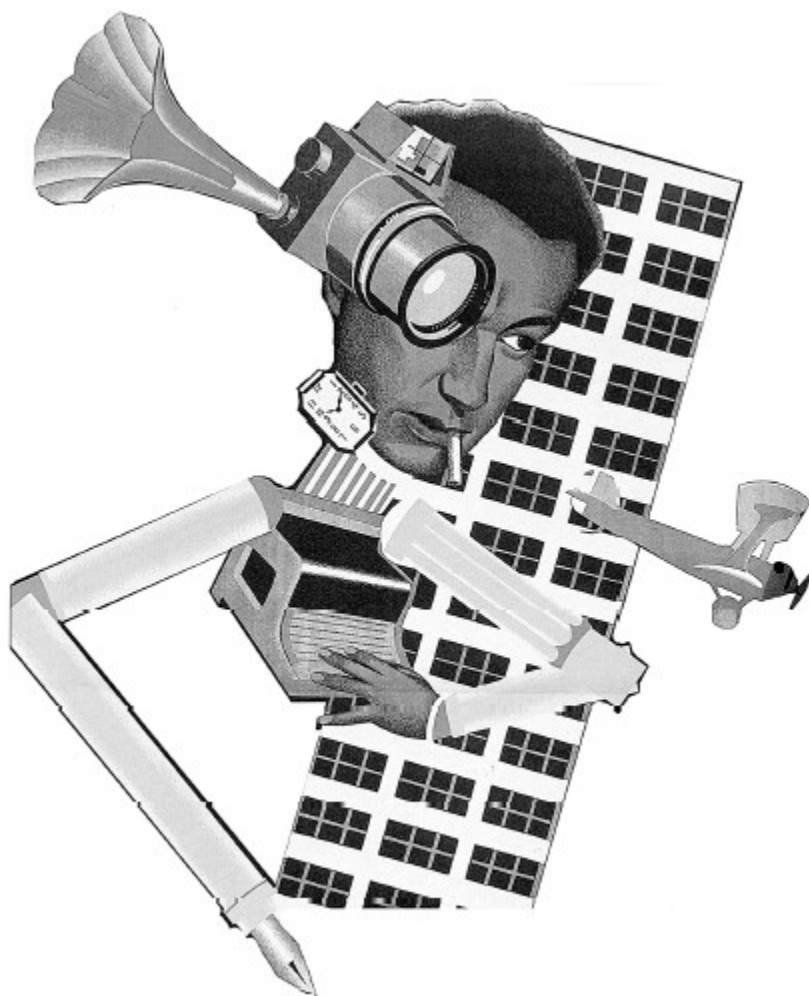
– Разве они виноваты? – рассуждал мальчик с пылом, от которого мне почему-то стало грустно. Наверное, оттого что я сама давно не гимназистка. Меня только на одно и хватило:

– Нет.

– Несправедливо.

Он еще долго бы рассуждал и требовал ответов. Но я устала, вдобавок от выпитого у меня разболелась голова.

Глава 5



Пиджак оказался на спинке кресла. Сложенный пополам, с завернутыми внутрь рукавами. Ровно так, как он его вчера бросил.

Так и должно быть, когда живешь один. Все вещи находишь там и так, как их сам же оставил.

Но это-то и было странно. Потому что каждое утро Зайцев – где бы ни бросил вечером – находил пиджак на стуле. Проветренным, расправленным, выбитым и вычищенным либо «моей нянькой», либо «моей кухаркой». Бросал мятым, заляпанным, пыльным. А находил – Самый Чистый Пиджак Советского Союза.

Вчерашний хлеб тоже не был нарезан. А лежал там, где выложил его Зайцев, – в газете на столе. И это была вторая странность.

Хозяйства у Зайцева не было, и «нянька» с «кухаркой» остервенело набрасывались на то немногое, что могли сделать: брать у него деньги просто так, задаром спать у Паши в углу им было совестно.

А теперь пиджак и хлеб лежали нетронутыми.

На сердце у Зайцева сразу стало так тошно, точно через минуту предстояло умереть. «Соседи стукнули – и ночью забрали».

Вышел на общую кухню за кипятком. Соседки пожелали «доброго утра». Одна вешала белье. Другая варила кашу. Третья караулила кастрюльку с бигуди. За развешанными простынями слышалось «вжик-вжик-вжик» – кто-то чистил обувь. «Не насри мне тут смотри. Ваксой-то. Брызги вон летят», – пробурчала невидимой щетке соседка: не злобно – устало. Зайцев посторонился: пропустил соседа с дровами. «Добренькое утречко». Отозвался: «Доброе». И подумал: «Кто-то из них – стукнул». И двух женщин, сбежавших из голодающей деревни в город, все-таки настигла злая доля. А мальчик? Взяли с матерью и в детдом теперь... Не пожалели, с отвращением глядел он на хлопчущих соседок. С виду человек. Но только с виду. Тронь – ощерится. Ползет из человеческой оболочки чудище.

– Ты чего, товарищ Зайцев? – сердобольно удивилась соседка с пустым тазом в руках.

– Что?

– Большой какой-то на вид. Выпимши вчера был, что ли?

Он еле сумел выдавить:

– Нет.

«Кто-то из них – донес». Написал донос, погубил двух женщин, ребенка. И живет дальше, как ни в чем не бывало. Здоровьем моим интересуется. «И я никогда не узнаю кто». Он прислонился лбом к дверному косяку. Желудок схватило ледяной коркой. «А Паша?!» Обе крестьянки и мальчик спали в ее дворницкой комнатке. Если взяли ночью, то у Паши. А если и ее...

– Вы хорошо себя чувствуете? – тут же отозвалась другая. И даже «вжик-вжик» прекратилось: сосед показал из-за простыней красную рожу и оказался слесарем Курочкиным. Васильковые глаза его тоже глядели сочувственно:

– Ты чегой, Василий, правда, што ль?

– Вот прицепились. Устал человек, – отозвалась соседка, помешивая бигуди. – Не в конторе штаны просиживает.

– Не обижайся, товарищ Зайцев. Но что-то ты правда зеленый.

– Отлично себя чувствую. Лучше не бывает.

И вышел, забыв, что собирался греть воду.

Хлопотать? Звонить? Куда?

Пройдусь пешком, решил он, спускаясь по ступеням. Мойка с ее неровной и одновременно стройной набережной всегда успокаивала, проясняла мысли... Или наоборот – поступить, как он сам совсем недавно советовал бывшему военному ветеринару? – бросить всё, не заходить больше в квартиру – сесть на первый попавшийся поезд, и...

Толкнул дверь – в утренний свет, в воздушный простор набережной. Поодаль, высоко над крышами сверкал на солнце бронзовый шлем Исаакиевского собора.

Паша нашлась у парадной. В дворницком фартуке, при бляхе. Стуча по дну, вытряхивала ведро в бак. Зайцев так удивился, что даже не смог обрадоваться.

– Привет, Паша.

– Здорово. На службу чешешь?

– Не. Бросил я ее, Паша. Скучно.

Ведро остановилось.

– Чего я там хорошего, красивого вижу?

Недоверчивый взгляд – ждет продолжения.

– В цирк решил поступить.

Паша усмехнулась. Покачала неодобрительно головой:

– Треплешься.

И не дожидаясь ответа:

– Да они тя допоздна ждали. Подосвиданькаться чтобы. Я им: не надо. Последний день, што ль? Служба у него: он, может, сегодня в ночь ушел. Не поминайте лихом. Идите уже с богом.

– Куда?

На сердце отлегло. Паша волокла бак, рассказывая на ходу:

– Да место приискали. Семья с детками. На Петроградке. А у других старуха лежачая, в Озерках. Им сиделка нужна была, и мальчишка не помеха.

От сердца разлилось тепло. И оно сразу перемешалось с жаром стыда: а думал на соседей.

Паша остановилась, вытерла руки о фартук. Запустила руку в карман, выудила:

– На вот те. Передать велели. На вечную добрую память.

На большой грязной ладони был корявый, слегка смявшийся в Пашином кармане пластилиновый слоник, весь в маленьких отпечатках пальцев. Точнее, слониха – знаменитая ленинградская Бетти: Сашка с матерью успели побывать в зоосаде, доселе невиданный зверь поразил мальчишку.

Зайцев взял.

– Ну что ж. Конец Самому Чистому Пиджаку Советского Союза. Эх, недолго ходил я женихом. А, Паша? ...Только ты вот что: больше так не делай. Предупреждай.

Паша помолчала. Потом поняла, что он имел в виду. Ей не впервой было отпирать ворота ночному автомобилю, показывать, где нужная квартира, выступать свидетельницей при обыске. А потом вешать на опустевшую комнату замок.

– Вел, – сказала она. Подхватила бак и потопала по своим дворницким делам дальше.

* * *

В кабинете все так же садились раз и навсегда заведенным порядком. Крачкин – всегда на диван, в одном и том же углу, так что Зайцев невольно гадал, не образовалась ли там лунка по форме крачкинского зада. Серафимов тоже облюбовал диван, но сиденье было табу, зато подлокотники годились оба. Но сейчас он сидел подальше от Крачкина. Самойлов плюхнулся на привычный стул. Нефедов влился в бригаду последним – и получил подоконник. Зайцев вдруг подумал: а ведь если что, Нефедов выскользнет через окно и уйдет по карнизу, белкой сползет по водосточной трубе, кошкой удерет в чердачный лаз. Нефедов глядел обычным сонным взглядом – на всех и в никуда, но Зайцев видел: тело собрано. Отогнал эти мысли, заговорил:

– Так. Значит, из сухих фактов у нас пока только время смерти и орудие убийства. Это ровно на два факта больше, чем безнадежно.

– Цацки фукнули – тоже факт.

– А вот это, Самойлов, – повернулся к нему Зайцев, – пока еще не факт! Их нет там, где показала свидетельница, они должны были быть.

Но украли их или Варя сама перепрятала, мы не знаем. Может, она их вообще кому-то подарила!

– Племяннице из Бобруйска, ага, – не удержался Самойлов.

– Кстати, билет, – отозвался из своего угла Крачкин.

Расправленный пинцетом трамвайный билетик Крачкин уже пропустил через пары йода, чтобы нарисовались «пальчики». Но довольным не выглядел.

– Ничего? – все же уточнил Зайцев.

– Смазанные.

Прежде чем выбросить или обронить, билетец скатали в твердый шарик.

– Вот если бы он его просто смял и бросил, – размечтался Крачкин.

– Или она, – подал голос Самойлов.

– Женщина? – пробормотал Зайцев. – Маловероятно. Чтобы так нож вогнать, сила нужна.

– Или страсть, – не сдавался Самойлов. – Бабы баб чаще всего пыряют. Или травят.

– А с чего мы вообще решили, что билетик этот преступник, а не честный гражданин обронил?

– Мы ничего не решили, – задребезжал Крачкин: он нашел билет, он обратил на него внимание и потому принял экивоки на свой личный счет. – Проверяем все попавшие в поле зрения факты. Наука покажет: честный там гражданин или преступник.

– ...преступница, – веско поправил опять Самойлов.

Зайцев это отметил:

– Ты что-то сегодня свирепо против прекрасного пола настроен. Что у тебя на уме, Самойлов, рассказывай.

– Не у меня, а у нас. И не на уме, а в коридоре. Профессорша сидит. Которая маникюрша. Любопытный кадр.

– Понял, Самойлов. Сейчас закончим здесь и вместе с профессоршей-маникюршей побеседуем.

Самойлов кивнул и с виду потерял интерес к совещанию: вытащил из-под задницы газету, тряхнул листы, отгородился. Неприятности в германском рейхстаге, похоже, продолжались, успел заметить на первой странице Зайцев. Заметил и отшел.

– А какие маршруты трамвайные поблизости дома убитой проходят, мы уже знаем? – продолжал он.

Никто не ответил, не повернул головы. Зайцев понял, кто имелся в виду. Посмотрел на Нефедова, тот зашуршал своей бальной книжечкой для записи танцев и кавалеров.

– Двойка, тройка...

– И туз? – перебил Крачкин, искушение состричь было слишком велико. Нефедов ухом не повел:

– ...и тридцать первый.

– Отлично. Выясни, Нефедов, как эти маршруты идут. Да обрати внимание на торгсины и комиссионки по этим маршрутам. Возьми списочек пропавших цацок, который соседка Сеницына составила, да ориентировочку в торгсинах и комиссионках дай. Маршрутами этими не ограничивайся. Но с маршрутов начни.

– Думаешь, он дурак такой...

– Или дура, – подал голос из-за газеты Самойлов.

– Не обязательно дурак. Но и не профессор тоже. Или профессорша... Тьфу, Самойлов, из-за тебя теперь и я про бабу думать стал.

Самойлов отвел от лица газетный лист и показал довольную ухмылку.

– Если только... – уже размышлял вслух Зайцев. – Если только сразу в частные руки не уплыли побрякушки.

– Быстро больно. Вещи, судя по описанию, крупные, броские. Не дешевые. Покупателей на такое найти...

Зайцев не дал Серафимову договорить:

– Постой. Мне на ум сразу пришло – ты про «быстро» совершенно прав. И про покупателей тоже. И про то, что вещицы – броские. Вот я и думаю: не нашел ли злоумышленник наш... Или, Самойлов, злоумышленница. ...Не нашел ли он сперва – интересанта. Покупателя. Или покупатель – его нашел.

– То есть?

– Что, если Варины цацки под заказ красть наметили? А саму Варю шлепнули только потому, что дома оказалась. Сказали же соседи: из квартиры не выходила.

– А нож? – подал голос Крачкин.

Четыре пары глаз внимательно смотрели на него. Цепко, внимательно: охота началась. Зайцев ощутил нечто вроде нежности: «Мы можем ненавидеть друг друга, подозревать, презирать. Но вместе работать – это сильнее страсти, больше, чем любовь».

– Меня, как всегда, занимает психология.

– Давай, Крачкин.

– В преступной жизни имеется элемент профессии. Легко решается на убийство тот, кто уже убивал. А грабитель, вор, тот с малой вероятностью расширит свое амплуа. Он скорее сбежит, а не убьет, если операция пошла не по плану.

– Да, ты прав, – согласился Зайцев. – Соседи нож не опознали. Вполне вероятно, что преступник принес его с собой. Если принес, то был готов к убийству, а значит, не первый раз убивал.

Он заметил, что при этих словах Нефедова слегка передернуло. А Крачкин скептически вскинул брови.

– ...Знаю, Крачкин, не сходится! – заключил Зайцев.

– Это почему это?

Ответил Крачкин:

– Потому что, Самойлов, ты лясы точил, пока мы там с товарищами мебель двигали.

– При чем здесь мамины галоши? – обиделся тот. – Я, между прочим, тоже работал.

Зайцев пропустил их пикировку мимо ушей:

– Видишь ли, Самойлов, срач, там, конечно, неопиcуемый. Но по-своему упорядоченный. Если бы борьба была... Там бороться-то негде. Мы сами с трудом втиснулись. Места живого нет. Да и лежала убитая больно смиpно – будто во сне ее смерть застала.

– А если была борьба? И мебель раскидали? А только потом кто-то все поставил на место? А что? Ведь прикрыла Наталья убитую шалью и разбитое яйцо прибрала. Может, и убитую поприличнее положила – тоже она.

– Молодец, Сима. Всегда все подвергай сомнению. Смотри с разных сторон. И сопоставляй. Только мой ответ: нет. Шалью, может, и прикрыла, яйцо прибрала, позочку хозяйке поправила, – мы об этом с ней еще потолкуем. Но мебель – никто не трогал. Ты вспомни, какая пылица на всем лежала. Махрами свисала. Нет, эти вещи давно никто с места не сдвигал.

Все помолчали. «Ангел родился», как говорили в Питере, и первым ожил Серафимов:

– Кто ж это цацки ее так страстно захотел, что человека за них порешил?

– А это, Сима, очень большой, хороший и насущный вопрос, – поддержал Зайцев. – Но это кошка рыбу всегда с головы ест. А мы начнем не с головы, которая это затеяла, а с рук, которые преступление совершили. Посмотри-ка наших старых знакомых: кто в картотеке числится, но в настоящий момент на свободе временно гуляет. Пошли, Самойлов, к профессорше маникюр делать.

Все поднялись. Сполз с подоконника Нефедов.

– А знаешь, Сима, – спохватился Зайцев, когда тот уже показал затылок. – Может, и ты тоже прав.

– Я часто прав, – проворчал он. – Ты что сейчас имеешь в виду?

Крачкин бросил выразительный взгляд, поднял перед ним большой палец: мол, браво, моя школа. Серафимов хлопнул его по руке, убирая: мол, нечего пальцами тыкать.

– Кошки, они тоже не дуры, когда с головы начинают. Верно, по описаниям цацки броские...

– Если только мадам Синицына не преувеличила, – встрял Крачкин. – Что простой бабе царские уборы, то работнику торгсина – дутое колечко.

– Психология, да, Крачкин. Но допустим, Синицына не преувеличила. Может такое быть? Может. Если она не врет, она эти цацки часто видела, присмотрелась, пообвыклась – уже не ослепляли они ее красотой своей и богатством. А судя по описаниям подробным, не врет. Хорошо рассмотрела, хорошо знала. ... Не всегда же убитая затворницей была. Что, если помнил ее кто по прошлой жизни? Как она в уборах своих тогда фигурировала.

– Театр, ресторан... – начал перечислять Крачкин. – Только так полгорода в подозреваемые записать можно.

– Ты, Крачкин, меня нарочно страшачешь, – пихнул его локтем Серафимов. – Что ж теперь, пол-Ленинграда проверять?

– А ты, Сима, учись, – наставительно перебил Зайцев. – Мы с тобой на горшке сидели, когда Крачкин уже за бандитами бегал. И старую жизнь он получше нас знает.

– Разумеется, – надменно процедил Крачкин.

– Не пол-Ленинграда, – продолжал Зайцев. – Кокнуть Варю мог кто угодно. А вот позволить себе такие финтифлюшки и сейчас может не любой. Может, он их коллекционирует. Может, бабенка его в комиссии чаще обычного наведывается и без покупок не уходит. На все это деньги нужны. Поводи носом, Сима. Вдруг золотой песочек нас куда приведет.

– Господи, – зарокотал из коридора Самойлов. – Как же я это ненавижу. Еврейские проводы. Уже встали все, польты натянули. Приветы передали, попрощались. А все в дверях стоят – и лалалалала.

– Договорились, Сима? Ура. Удачи. А ты Нефедов – на трамваях кататься... Всё, разбежались. Самойлов, лечу на крыльях любви. Где там маникюрша твоя? Веди.

– А я? – крикнуло вслед.

– Крачкин! Да тебе ж самое сложное! – Зайцев хлопнул себя по лбу. На самом деле, для старого сыщика предназначалось дело, для которого не требовалось бегать, ходить, толкаться в душном вагоне. – Надо установить круг знакомств нашей затворницы. Так что тебе – самое интересное: читать чужие письма. Которые Сима в панталонах у актрисы нашей отрыл.

– Ни за что! – донеслось ему вслед. – Я джентльмен.

Донеслось – и утонуло в гоготе Самойлова.

Глава 6



Зайцев совершенно иначе представлял себе маникюршу. Точнее, совсем не представлял: так, нечто развратное. И непременно губы бантиком, густо накрашенные, как будто наклеенные на лицо.

Перед ним сидела прямая сидящая дама в белой блузке с пожелтевшими кружевами. Волосы были взбиты надо лбом и увенчаны на макушке маленькой тугой дулей по моде, которая лет тридцать-сорок назад требовала к такой прическе пышных рукавов-буфов и талии-рюмочки.

«Фасон ее молодости. Значит, сейчас ей лет шестьдесят», — прикинул он. Губы цвета сырого мясного фарша. И в пенсне.

Директриса женской гимназии, да и только.

Зайцев вспомнил, что она – еще и профессорская вдова. Здесь противоречия с обликом не было.

Руки она выдвинула коробочкой перед собой. Так полагалось воспитанным девицам – тоже лет сорок назад. Зайцев отметил ее розовые полированные ногти, каждый обточен в форме миндаля. Сразу и реклама собственных услуг, и давняя привычка к ухоженности. Он перехватил взгляд дамы на свои лапы и невольно подвернул пальцы. Блеснули стеклышки пенсне. Она подняла взгляд ему на лицо.

– Господи, – молвила она, по-петербургски четко отделяя слово от слова, букву от буквы. – Конечно. Же. Нет.

– Я просто подумал... – наивно пробормотал Зайцев. Перед такой прикинуться дурачком – самое то. Начнет с высоты своего превосходства учить уму-разуму и оглянуться не успеет, как уже выболтала в разы больше, чем намеревалась сказать, вернее, утаить. – Я просто подумал, что раз она из дома не выходила, то маникюр делать зачем? Кого удивлять?

Он не ошибся. Ледяной взгляд. Зайцев ответил круглым взором идиота. Думал: «Любовник. Для кого же еще она когти свои точила... Ну давай, милая, рассказывай». Обычные письма под панталонами не хранят.

– Я ничего не понимаю в женском поле... В дамском... В артистках... – бормотал он. Самойлов держал мину игрока в покер; попросту говоря, делал «морду кирпичом». Только зря старался. Гарпия не удостоила его и взглядом.

– Вот именно, – холодно отчеканила она. И соизволила пояснить: – Настоящая женщина и настоящая артистка не позволит себе неухоженные волосы, зубы, ногти, подмышки и белье, даже если она не собирается покидать собственный будуар.

«Это явно больше, чем я хотел бы знать о женщинах, – иронически признался себе Зайцев. Особенно насчет подмышек». А вслух удивился:

– Почему?

Вздых.

– Если вы этого не понимаете, мне вам не объяснить.

– А вы попробуйте, – ласково предложил он, напряг память: – Елена Львовна. Я ведь не из любопытства интересуюсь. Не секреты женской красоты и личной жизни выведываю. Я убийцу ищу.

За ледяным взглядом мелькнуло смущение:

– Да-да. Разумеется.

Коробочка разомкнулась, рука нырнула за платочком, и Зайцев заметил, что холеные пальцы дрожали.

– Вы часто виделись? – сочувственно спросил он.

За стеклышками пенсне начали набухать, наливаясь слезы. Под стеклышки скользнул угол платка, деликатно промокнул предательскую влагу.

– Сразу после массажа и косметички, то есть Олечки, она через дверь от меня живет. Каждый второй день, – из-под платочка, в нос бормотала Елена Львовна. Но хорошее воспитание не позволяло ей высморкаться перед двумя посторонними мужчинами.

– У человека не растут так быстро ногти! – не выдержал Самойлов. Зайцев для порядка пнул его под столом ногой. Но вопрос был кстати.

Вдова уже справилась с собой и опять была холодом:

– Нет. Не растут. Но ванночку из теплого масла и трав необходимо делать через день. А в дни между ванночками – перчатки с гусиным жиром.

– А это зачем? – изобразил удивление Зайцев. Та вздохнула, миг подумала: говорить? Не говорить? Кивнула сама себе.

– Руки всегда выдают возраст, товарищ агент. Почему-то они у женщин стареют раньше всего.

– Она же не старая была, – не удержался он. – Соседка ваша. Наоборот. Очень даже молодая. И красивая.

– Для того чтобы выглядеть юной девушкой...

«Молодой любовник. Все-таки любовник... Может, она и цапки свои на него спускала. А не на яйца да шоколад». Подозревая, что напарнику могла прийти в голову такая же мысль, Зайцев пнул Самойлова заранее. И продолжил:

– Простите, я правда в женской психологии не очень понимаю... Зачем ей выглядеть непременно юной? Она ж и так, если вы меня спросите, ничего дамочка. Не ничего, виноват, а очень и очень...

– ...огненная, – подтвердил Самойлов: – Мы с товарищами единокордны. Как мужчины.

– Вот именно, – вздохнула Елена Львовна, сворачивая платочек, убирая в рукав блузки. – Как мужчины. Вас, мужчин, легко обмануть, вскружить голову, – она покачала головой, горько усмехнулась. – Но режиссер. Но засъемщик. Но киноплeнка. Ах, для того чтобы играть двадцатилетнюю девушку, им красоты, шарма, молодости недостаточно. Им непременно подавай тело двадцатилетней. Как будто это важно нам, ее зрителям. Но она... Она не позволяла ничему быть иным, нежели совершенным. В тишине, одиночестве, вдали от суеты возвращивала она волшебство...

До Зайцева понемногу начало доходить. А вдова уже вещала, как впавшая в транс пифия:

– ...Не позволяла никому увидеть тайнство. Пока сама не выйдет к миру. Не ослепит его своим искусством.

– Она что, собиралась снова сниматься в кино?! – изумился – уже не от имени мильтона-простачка, а от себя самого – Зайцев.

Вдова-маникюрша всплеснула холеными ручками, едва не выронив из рукава платочек:

– О чем же я вам который час толкую!

Зайцев и Самойлов переглянулись.

* * *

Свидетели, то бишь соседи убитой, приходили, говорили, уходили, один за другим, точно как их вызывали, вовремя – ни один не опоздал. Ни один не отмалчивался. Но и не лез откровенничать. Отвечали на вопросы. Не слишком охотно, но и не запираясь. Статисты, которых вдруг вытянули на первый план. Они жмурились от непривычного света. Но не терялись в декорации следовательского кабинета.

Лысеющий мужчина сидел прямо, не касаясь спинки стула. Но напряжения Зайцев не заметил. Лишь спокойное желание оказаться полезным, с которым тот посматривал на них с Самойловым через стол. Зайцев мысленно заполнил графу «особые приметы»: не

имеются. Голос у этого свидетеля был под стать – спокойный и без примет.

– Конечно, я знал. Мы все знали. Мы давно и благоговейно ждали ее... – он чуть склонил голову, – ...триумфального возвращения.

Зайцеву не пришлось особо напрягать память, сверяясь со списком соседей – свидетелей, а возможно, и подозреваемых. Фамилия у лысеющего мужчины была самая простая: Петров. А служба соответствовала внешности и имени: механик.

– Мы это кто?

– Ее ближайшие, верные поклонники, – с достоинством отвечивал тот.

– И много вас таких? Ближайших... Которые знали?

«Черт его знает. Какой он механик», – вдруг подумал Зайцев: многие «бывшие» подались в такие вот профессии – механик, счетовод, чертежник, билетер. Одни – потому что закрыт путь к советской работе по специальности. Другие – чтобы меньше с советской действительностью соприкасаться: деньги небольшие, но верные, и голова свободна.

– Вся квартира.

– Какая квартира? – На миг Зайцеву показалось, что среди вызванных на допрос соседей затесался посторонний.

Петров вытаращился.

– Наша.

Зайцев почувствовал, как мир медленно, но верно съезжает со своей оси.

Самойлова, похоже, обуревали подобные чувства. Он принялся теревить бакенбарду.

– Соседи? – уточнил.

– Поклонники и помощники, – обернулся к нему и веско поправил Петров. – Великой артистки.

– И давно вы – это... помогаете... Помогали покойной.

– Она жива, – надменно отвечивал Петров.

«Я с ними скоро сам на Пряжке окажусь», – промелькнуло у Зайцева. Петров даже не запнулся:

– ...Ее искусство живо, пока жив кинематограф.

– Это да. Несомненно, – поспешил согласиться Зайцев. – Вы как давно в квартире вместе живете?

– С тех самых пор, как уплотнять начали... Уплотнять – ее! Разве не понятно: артистке нужно уединение! Свой мир. В тиши и покое возвращать зерно...

«И этот про уединение и возвращение». Зайцев перебил:

– Какое совпадение интересное. Все соседи – и все поклонники.

– Это не совпадение.

– Как так?

– Мы стали соседями, потому что были... и есть! – с вызовом поправился он. – Ее поклонники.

– Что, все одиннадцать комнат? – врезался в беседу Самойлов. По лицу его было видно, что мысль о Пряжке – главной психиатрической лечебнице Ленинграда – пришла и ему.

– Как же это так вышло, товарищ Петров? Только не говорите, что вас всех свели случай и зов искусства.

– Нет, – не стал спорить Петров. – Она сама пригласила нас жить в ее квартире.

– Варвара Метель?!

– Когда начали... – Он с отвращением выговорил: – ...уплотнять. Она не стала дожидаться, пока ей поделят неизвестно кого. И пригласила избранных. Самых верных. Самых близких. Некоторых, впрочем, я бы на ее месте и на пушечный выстрел не подпустил, – быстро добавил он. – Но решения Варвары Николаевны не оспариваю. Принял как есть. Я поклялся себе, что сделаю все, что в моих силах, чтобы оберегать ее покой.

Сейчас Зайцев бы совсем не возразил, если бы Самойлов встрял с вопросом. Лишним. Ошибочным. Любым. Но и Самойлов, похоже, онемел.

Зайцев шумно выпустил воздух: пуффф.

– Хорошо... Ладно.

«Самое время твердо встать на землю. Факты. Только факты».

– Вы ничего подозрительного не слышали... той ночью?

Петров презрительно оттопырил губу.

– Я паладин ее искусства. Но это не дает вам повода считать меня хлюпиком. Я георгиевский кавалер. Вы хотели сказать – в ту ночь, когда она умерла? Слышал ли я, как ее убивали? Если бы я слышал, ее бы не убили, – горько выговорил он. – Я не слышал ничего. Я спал.

* * *

Самойлов глубоко запустил пальцы в баки.

– Экспертиза говорит, смерть наступила ночью. А вызвали нас когда – помнишь?

Самойлов призадумался, распушил баки.

– А чего – на службу ей вставать?

– Тоже верно.

Теперь задумался Зайцев. Синицына пришла с яйцом – значит, рутинный порядок: позднее пробуждение было обычным делом. Убийца, получается, это знал? Знал, что никто Варю долго еще не хватится?

Он решил отойти от фактов ненадолго – чтобы потом вновь увидеть свежим взглядом.

– Ты про политинформацию слышал?

– А чего про нее слышать? – перестал трепать бакенбарды Самойлов. – Перескажи своими словами, что в газетах пишут, и всего делов.

Зайцев вздохнул.

– Ладно, посмотрим, что Крачкин скажет.

– А ему зачем? – удивился Самойлов. – Он же не комсомолец. Ты лучше Розанову спроси, это ее затея.

– Да по Вариному делу. У него небось пальчики уже готовы.

– Вот про соседей-поклонников удивится.

– Он не удивится. Он старый.

– Такое даже он еще не видел.

– Ставлю маленькую пива.

– Ага!

– Чего ага, Самойлов? Чего ага?

– Ссыковато на большую.

– Не поэтому.

– Потому что знаешь: продуеть.

– Потому что пить вредно, Самойлов!

Крачкин удивился:

– Одиннадцать комнат – и в каждой поклонник или поклонница?!

– Квартирка, ёпт, – подтвердил довольный Самойлов. Показал Зайцеву жестом: большую пива с тебя. Тот ответил жестом: маленькую, маленькую.

Крачкин с неудовольствием посмотрел на пантомиму.

– Не пойму только, – вернулся к делу Самойлов, – как это они на нее не обиделись?

* * *

Сидели все на излюбленных местах: Самойлов и Серафимов на молескиновом диване, Нефедов на подоконнике, Крачкин в кресле, продавившемся чуть не до самого пола. Зайцев, как всегда, вышагивал по кабинету, присаживаясь то на край стола, то на подлокотник дивана.

– За что обижаться-то?

– Жить-то с ней в квартире пригласила, прислуживать себе – пожалуйста, а мебелишкой делиться – ни-ни.

– Богиня, – пожал плечами Крачкин. – Богам положено быть капризными.

– В общем, если не брешут соседи эти, – продолжал Самойлов, – затею они все приняли на ура. Почли за честь. Сами перетащили все ее имущество в самую большую залу. А потом радостно вселились со своими манатками в опустевший апартамент.

– Коммуна прямо какая-то, – все не мог себе этого представить Зайцев.

– Ну... И понятно, что ее затею вернуться в кино они тоже хором одобрили.

– Она и это с ними обсуждала? – уточнил Крачкин.

– То-то я, когда первый раз Синицыну допрашивали, подумал: на хрена ей столько гусиного жира? А свежих яиц? Это ж обожраться можно. А ей, видишь, для омоложения. Горло, видишь, яйцами полоскать... Голос разрабатывать. Я еще тогда обратил...

– Только почему-то никому об этом не сказал, – безжалостно прервал Крачкин. – Забыл сказать, наверное.

Самойлов надулся.

– Ладно тебе, Крачкин. У нас у всех факты были под носом.

– Черт-те что. Все не то, чем выглядело, – признал Серафимов. – Старуха оказалась молодой бабой, а соседи – прислугой.

– Меня другое больше удивляет. Ночью в любой квартире более или менее тихо. Спали все. Хорошо, я верю.

– А я нет, – встрял Самойлов.

Крачкин демонстративно повторил:

– ...верю. Имею ту же эксцентрическую привычку – спать по ночам... Но в тишине любой звук слышнее.

Зайцев обернулся от Крачкина – к Самойлову:

– А какие комнаты с комнатой убитой соседствуют стена в стену?

Самойлов справился в блокноте:

– Ступников и Легри.

– О, покалякать с ними надо попристальнее. Отлично. ...Крачкин, а ты о чем задумался теперь?

Взгляд у старого сыщика не сразу вынырнул на поверхность.

– Вы подумайте... Какая верность кумиру, – нехотя ответил он.

– Я все-таки не отказываюсь от своих слов, – снова пошел в бой Самойлов. – Мое предположение: ищи среди соседей. Особенно женского пола. Хоть какие они поклонники. Когда люди вместе живут в одной квартире, срут в один нужник, на одной кухне кастрюлями стучат, разные обиды возникают. Из года в год курочка по зернышку клюет. А потом – самая мелкая мелочь: кран не закрыли, свет не потушили, кастрюлю не там поставили. И привет. Жмур.

– Мы эту версию не сбрасываем, – заверил его Зайцев. Самойлов довольно откинулся на молескиновую спину, та испустила скрипучий вздох.

– Как и версию, что цацки Варины кому-то спать спокойно мешали.

– Одно другому не противоречит.

– Ты о чем, Крачкин?

– А что, если кто-то из соседей навел? Допустим, даже не совсем умышленно. Мог, например, Синицыну эту в ломбарде однажды кто-то приметить.

– В торгсине, – поправил Самойлов.

Крачкин опять и ухом не повел:

– ...особенно если в ломбард она ходила один и тот же. Попалась на глаза кому не надо, и...

Зайцев поднял обе ладони:

– Погоди, Крачкин. Могло так быть, как ты говоришь? Могло. В жизни бывает всякое. Но мы будем стоять при фактах и идти не дальше, чем они нас пускают. Лады? Давай факты, Крачкин.

Тот зашуршал папкой.

– Во-первых, нож. Четких пальцев нет. Если и были, стерты.

Все поскучнели.

– Во-вторых, на рояле, – продолжал Крачкин. – Убитая. И неизвестный.

Скрипнул диван, все едва заметно шевельнулись: дело сдвинулось?

– Ну ты даешь, Крачкин, – воскликнул Зайцев. – Это же во-первых!

На столе затрещал телефон.

– Я вот чую, кто-то из соседей замешан, – не сдавался Самойлов.

– Чую – не аргумент.

– За так называемым чутьем обычно стоит наблюдение, которое не отпечаталось рассудком, – заметил Крачкин.

– Самойлов, чутье твое подкрепим фактами: пригони соседей на пианино нам поиграть.

Зайцев подошел, снял трубку, прикрыл, говоря в комнату:

– Размышление никому не повредит. Но помним: за версии не цепляемся. Глаз себе не замыливаем. С психологией не перебарщиваем. Опираемся на голые факты. Погоди, Крачкин, про пальчики ещё... Да, – ответил он в трубку.

Все сидели, слушая неразборчивый ропоток.

– Как раз по ее делу и совещаемся сейчас. ...Не нашли, – только и ответил Зайцев. – Письма нашли. ...Крачкин, там – письма?

– То есть как?

– Нет другого чего? – понадеялся Зайцев. – Так сказать, между строк.

Крачкин холодно подтвердил:

– Письма.

Зайцев снова обернулся к трубке:

– Понятно. ...Да хорошо, хорошо. Сползаем, глянем, раз интересуемся. ...Я сказал: слетаем и все перетряхнем!

Он повесил трубку. Но явно не мог снова поймать нить совещания:

– Коптельцев... Так вот, Крачкин. Пальчики...

Он смотрел на остальных и не соображал, что собирался сказать и о чем минуту назад думал – вылетело из головы. Снова снял трубку:

– Гараж.

Дождался соединения:

– Запрягай телегу.

И остальным:

– По пути договорим.

– Шлепнули кого-то? – встал Серафимов.

– Куда едем-то? – без особого интереса уточнил Самойлов.

Крачкин потянулся за своим саквояжем.

– Сундук оставь, не понадобится, – остановил Зайцев.

– Мы куда? – теперь интерес проснулся.

– Обратно к Варе в гости.

– Зачем?! – изумился даже старый сыщик.

– Знаете, что Коптельцев первым делом спросил? Не нашли ли мы ее мемуары.

– Чегось?

– Что это все набежали ее мемуарами интересоваться. Сперва тот хмырь в квартире.

– Не хмырь, а секретарь писателя Чуковского.

– ...потом тот папаня на лестнице набросился.

– Не папаня, а ассистент профессора Качалова.

– А Коптельцеву-то чего?

– Ему-то ничего. Ему самому под задницу железный лист положили и костерок развели.

– Да кто?!

– Ну иди и спроси у Коптельцева кто – если интересно тебе, – рассердился Зайцев. – Не с кинофабрики, и не из Теаджаза, надо полагать, если Коптельцев тут же на телефон запрыгнул и мне начал дырку в черепе долбить.

– Мы же не нашли никаких мемуаров в комнате ее.

– В этом, похоже, вся беда.

Глава 7



По дороге совещание возобновилось само собой.

– А чему ты удивляешься, Вася?

– Ничему, в общем. Но... кино, – пробормотал Зайцев.

– А что не так с кино?

– Да всё так, – поспешно заверил он Крачкина. – Просто вот опера – это понятно. Или на скрипке играть. Или вот балет. Тоже понятно. Это уметь надо. Но как можно быть великой актрисой в кино – я не понимаю. Это же не искусство.

Отозвался Серафимов:

- Современные американские ленты бывают ничего.
 - Но старье дореволюционное? Чуть ведь собачья. Чтобы вот так на этой почве башкой двигаться. В услужение пойти.
 - Я соседям этим тоже не верю, – поддержал Самойлов.
 - А во что вы верите, товарищ Самойлов? – осведомился Крачкин.
 - В шкурный интерес. Жилплощадь. Комнаты им в хорошем доме приглянулись. Квартира большая, сухая.
 - Дети мои, дважды в неделю подстригать ногти можно только тому, кого очень любишь. Это психология.
 - Не согласен, Крачкин. Если ты профессорская вдова, а у тебя за стенкой сосед алкаш по ночам орет, бутылки колотит, мимо унитаза валит, то ты кому угодно ногти и на ногах стричь будешь, лишь бы жить среди себе подобных – или хотя бы тихих. Вот это – психология.
- Крачкин махнул рукой:
- Невыносимо. Учил я вас с недоверием подходить ко всему. Учил. И выучил на свою голову. Нигилисты какие-то. Ни во что святое не верите.
 - Фактам верю. Это – святое, – сказал Зайцев.
 - А я тебя, Крачкин, поддерживаю, – вдруг отвернулся от окна Серафимов.
 - Мерси, товарищ Серафимов.
 - Чем только люди не бредят в наши дни, – говорил и словно сам слегка удивлялся сообщаемым фактам Серафимов. – Есть кружки кактусоводов. Аквариумных рыбок. Хорового пения. Фанерных моделей. Покажи мне любую чушь, а я тебе покажу людей, которые на этой почве башкой двинулись.
 - Благодарю, товарищ Серафимов. За поддержку.
 - Пожалуйста, Крачкин.

Лифт опять не работал. Теперь уже в самом деле. Крачкин несколько раз попытался оживить его, в шахте, затянутой сеткой, даже что-то бухало и лязгало. Но недра оставались темны. А дверь не размыкалась. Напрасно Крачкин дергал ручку.

– Крачкин! – крикнул Зайцев с лестничной площадки в закрученную морскую раковину пролета. – Ты бы уже давно пришел.

Крачкин пробормотал ругательство. Утопил кнопку еще раз. Еще раз дернул ручку. Послушал металлическое молчание неживого лифта.

И потопал по лестнице.

– Сдал наш старикан, – вздохнул Самойлов.

– Но-но, – оборвал Зайцев.

Дворник гремел ключами на связке. «Интересно, а он тоже – из поклонников?»

– Я ведь знал ее с самого «Замка Тамары», – мечтательно начал дворник, словно услышал вопрос у Зайцева в черепной коробке. Глаза его чуть затуманились. – Ни одной ее фильмы с тех пор не пропускал. Я вообще...

– Мы поговорим, товарищ, – поторопил его Зайцев. – После.

Дворник отпер высокую дверь бывшей квартиры Вари Метель – гражданки Берг.

– Пожалуйста.

Зайцеву показалось, что он продолжит: «...на чаек бы с вашей милости». Настолько ясно, будто дворник в самом деле это сказал.

Тут же, как кукушка из часов, выглянула Елена Львовна. Показала нос – и закрыла дверь быстрее, чем до Зайцева долетело ее «добрый день».

«Да, тут ничего в тайне от соседей не удержится», – отметил Зайцев.

Из кухни доносился булькающий звук, тянуло запахом дегтярного мыла – шла стирка. Днем, в часы, когда весь Ленинград на службе, квартира отнюдь не пустовала. На пороге кухни нарисовалась Синицына.

– Здравствуйте, товарищ агент. Вам кого?

Но Зайцеву было не до нее – так поразила его простершаяся перед ними пустота:

– А мебели где?

Коридор отозвался эхом.

– Так ваши же и вывезли, – в свой черед удивилась Наталья.

Все быстро переглянулись. Склад улик в угрозыске, конечно, был, но не такой, чтобы вместить мебельный магазин.

– Все утро таскали, не гуляли, – уточнил дворник.

Все опять переглянулись. Дворника эти взгляды озадачили.

– Да они и документик показали. Все чин чинном.

– Потом разберемся, – сказал за всех Зайцев. – Пошли.

Протопали к комнате, в которой Варя Метель затворилась от мира и из которой думала выпорхнуть в сиянии новой славы. Если бы не убийца.

Зайцев посмотрел: Синицына так и торчала в дверях. Нос, казалось, даже удлинился от любопытства.

– Мы с тобой еще потолкуем, Наталья, – пообещал Зайцев. Тонем, как будто собирался обсудить магазины, очереди, рецепты со старой знакомой. Та кивнула, убралась обратно – к булькающему звуку, к запаху мыла.

Зайцев сломал печати. Сорвал бумажную ленту со своим автографом (по привычке проверив, что лихие закорючки-ловушки с подвохом – ровно такие, какими их вывела его рука).

Дверь впустила в коридор дневной северный свет. Даже летом он был металлического оттенка.

Отсюда, с порога, комната не просто казалась большой. Она и была огромной. Не комната – зал. Давно мертвая люстра ловила свет из шести высоких окон всеми своими висюльками и передавала дальше – в виде алмазных искр. Разевал пыльную пасть мраморный камин. Пыль оттеняла лепнину на потолке. На вычурном паркете видны были свежие царапины: разбирая мебельный бурелом, не церемонились. От шелковых обоев все так же нестерпимо пахло старьем.

– Псть! – раздалось за спиной. Крачкин наконец подошел. Все четверо стояли, не двигаясь. Разглядывали гулкой зал.

– Где ж тут искать? – высказал общий вопрос Серафимов.

В самом деле, нагая комната не оставляла простора воображению.

– Сима, ты начни в камине шуровать. Самойлов, сходи к дворнику – пусть трубочиста вызовет. Пошуровать надо в дымоходе, не заткнули ли туда чего. ...Да! И лестницу пусть притаранит! Крачкин, возьмишь пол?

– У меня колени ноют.

– Нефедов, простукивай пол. Ты, Крачкин, бери короткие стены, а я длинные. Вдруг тайник где устроен... Правда, есть у меня нехорошее чувство, что тайник ее в любой комнате может быть, и в кухне, и в сортире. Вон у нее с соседями альянс какой.

– Не дай бог.

– Бога нет, – немедленно отозвался Серафимов. – Его попы выдумали.

Нефедов тут же опустился на корточки. Пополз, стуча костяшками. Слушая звук. Крачкин с места не двинулся. Зайцев обернулся.

– Чувствую, зря это всё.

«Точно. Сдаёт».

– Почему?

– Тайник, скорее всего, среди мебели был устроен. Мы его, может, сами своими руками отсюда вынесли. Может, она свою рукопись в диван запрятала. Может, в столе каком-нибудь двойное дно. Может...

– Всё может быть, – поспешил согласиться Зайцев. – Значит, и до мебели дойдем. Если надо.

– Надо мыслить как одинокая молодая женщина, – наставлял Крачкин. В паузах между словами слышалось только звонкое деревянное «тук-тук» (Нефедов) и приглушенное шелком (Зайцев).

– Элегантная дама не станет шарить в камине. Грязно.

Серафимов остановился. Обернулся на Зайцева. Покачал головой. И снова залез обеими руками в камин.

– Элегантная дама не станет скакать по лестнице-стремянке под потолком, как мартышка, – рассуждал Крачкин. И отпрянул. В него задом мягко врезался Нефедов. Пробормотал нечто похожее на «извините». Крачкин переступил через него не глядя. Пошел к окну.

– Вот ты, товарищ Зайцев, молодая элегантная дама. Где бы ты устроил тайник?

– Я отказываюсь себе это представлять, Крачкин.

– Зря. Ставить себя на место другого – полезное умственное упражнение. Основа психологического метода.

Он провел рукой под широким подоконником. Перешел к другому.

– Не, Крачкин. Что у дамы на уме, сам товарищ Бехтерев не разберет вместе со всем своим Институтом мозга. А я лучше работу буду работать. Тщательно проверять доступное. Исключать проверенное. Серенько так, без фантазии.

Второе окно тоже ничего не дало. Крачкин задумчиво подергал шпингалет. Осмотрел раму. Перешел к третьему.

В стене гулко и тупо стукнуло. Очевидно, ухнул свою гирьку в дымоход трубочист. Серафимова обдало старой сажой, пыхнувшей из

мраморных ворот. Он закашлялся. Закрыв лицо рукавом, но тотчас бросился к выпавшему из дымохода комку.

У Зайцева забилося сердце: сожженные листки?

Серафимов развернул, отбросил:

– Газетный пыж. Выбросило, видать, тягой вверх, когда разводили огонь. Фу холера. Пусто, Вася.

Он встал, отряхивая колени.

– ...Эх, была б такая техника, чтоб показывала отпечаток человека в воздухе. Кто здесь был, что делал. Никаких больше тайн и улик. Никакие свидетели не нужны. Обработал воздух, сфотографировал. Или даже снял преступление на киноаппарат. Опознал харю. И всё – высылай наряд брать.

– Может, в будущем изобретут.

– Ты только подумай, – оживился Серафимов. – Криминалистика будущего откроет такие...

– Не откроет, – шестое, последнее окно тоже не дало Крачкину ничего.

– Ты, Крачкин, что, не веришь в будущее?

– Не верю. Оно мне не интересно.

– Потому что ты старый. Уж извини. Но это факт.

– Не поэтому, – неожиданно не обиделся Крачкин. – Просто наша работа не имеет ничего общего ни с будущим, ни с настоящим. Мы расследуем прошлое. Было, состоялось, завершилось. Случилось.

И не дал никому возразить:

– Пять минут назад, час или год – разницы никакой. Мы всегда расследуем прошлое.

Зайцев обернулся в комнату. Огромная. Просто огромная. Высокие окна. Камин. Мощная люстра. Высоченный потолок. Паркет. Теперь, когда хлам вынесли, она стала собой: парадной залой. Теперь вся квартира с ее обитателями выглядела иначе. Вся история. И сама ее мертвая героиня.

Не затравленная бытом и соседями чокнутая одиночка, как показалось сперва. А королева со свитой – в изгнании.

«Черт его знает, – задумался Зайцев, глядя на солнечные параллелепипеды, в которых плясала золотая пыль. – Может, Самойлов и прав. Только тогда не банальная ссора раздраженных

соседей. А придворные интриги, ревность приближенных. Тайны мадридского двора».

Задом вперед прополз, стуча костяшками пальцев по паркету, Нефедов. Поднял на Зайцева совиное лицо, покачал отрицательно: ничего.

«Мебель вывезена по распоряжению, – бесцветно прошуршал в трубке голос Коптельцева. – Не отвлекайся от задачи». И шеф угрозыска повесил трубку, словно прихлопывая другие возможные вопросы.

– Говорит, что в курсе, – ответил Зайцев вопросительному взгляду Крачкина.

* * *

Пошли в домоуправление.

– Далеко-то еще топать, отец? – сразу задребезжал Крачкин. «Ой как мне это все не нравится, – огорченно поглядел на его спину Зайцев. – Сначала на второй этаж высоко. Теперь в соседний двор далеко. Уж не решил ли Крачкин коньки отбросить». Спина старого сыщика теперь казалась ему какой-то слишком тощей, слишком шишковатой, «спина старика», тихо ужаснулся он. И поскорее ввязался в разговор с дворником, который топал позади него слишком уж близко, так близко, что Зайцев чувствовал его дыхание на своей шее, отодвинулся, пропустил вровень с собой.

– Давно здесь служишь, уважаемый?

– С восемнадцатого года.

– А до того?

– А ты что, комиссия по чистке?

– Нет, – просто ответил Зайцев. – Просто привык везде нос совать. Куда надо и куда не надо.

Такой подход обычно обезоруживал тех, кто и так переутомлен человеческим обществом: дворников, конторщиц, продавцов, людей в очереди, ветеранов кухонных битв. Сработал и на сей раз.

– У «Медведя» служил, – ответил дворник и предупредил новый вопрос: – Подавальщиком.

«Да жук ты еще, видать, тот», – подумал Зайцев.

– Хороший ресторан, – одобрил Крачкин. – Публика солидная. Не шантрапа всякая.

– Тоже бывали? – заинтересовался, но осторожно дворник.

Крачкин кивнул. Он не стал уточнять, что бывал там исключительно по делу: брал очередного преступника.

– В прошлые времена.

Дворник довольно ухмыльнулся.

– Да, были времена. Но шантрапы, вам скажу, тоже хватало, – охотно он ввязался в беседу. – С виду приличные господа, а нажрутся – тьфу. И зеркала бьют, и морды. И по счету не платят. Как самые простые.

– Фух. Стойте, – Крачкин схватился за грудь. Зайцев встревожился. «Как бы карету вызывать не пришлось», – пристально глядел он на лицо Крачкина. Побледнел? Нет ли синеватого треугольника, который, как он слышал на курсах первой помощи, намечается вокруг носа в преддверии сердечного приступа.

– Пришли, – к счастью, объявил дворник. Зайцев обрадовался скамейке, как пустому сиденью в трамвае в конце рабочего дня.

– Крачкин, ты посиди здесь. Чего мы туда делегацией попрячемся, только распугаем всех.

– Домууправление-то? Они сами кого хочешь распугают, – но сопротивляться не стал. Сел.

И здесь Крачкин не ошибся. Домууправ с клубничным носом опытного алкоголика заорал без разбега:

– Какие еще планы дома? Кому? Очистите помещение. Ходят тут...

Зайцев заткнул ему пасть удостоверением:

– Мне планы. Угрозыск ходит.

Тот покосился, осекся. Забурчал:

– Чего сразу не сказать? Меня тут, знаешь, как донимают все, кто ни попадя.

– Товарищ Зайцев моя фамилия, а тыкай теще своей.

Тот сдулся совсем.

– Что ж вы сразу не сказали, как вас звать. Сами не говорят, а потом ругаются. А я что – мысли читать должен?

– Ладно, хорош в красноречии упражняться. Мне нужен поквартирный план парадной.

Он назвал номер дома. Алкаш свистнул:

– Удивили тоже.

– То есть?

– Этот план всем нужен.

– А кто еще спрашивал?

– Я, например. И водопроводчик. И электромонтер. И пожарные. И комитет. И эти, из управления. Нету плана.

– Потеряли?

– А кто его знает. В восемнадцатом году зимой-то батареи топить было некому. Буржуйки все у себя по квартирам топили. Как придется, чем найдут. А тут бумага в папках, кто там смотрел? Столько всего пожгли, что и план поди – тю-тю, в трубу вылетел.

«А Варя-то мебелишку свою не пожгла», – вдруг подумал Зайцев.

– Ну старый пожгли. Допустим. А новый план? Нет разве?

– Дак его сперва сделать надо.

– Ну?

– Ну так и ну. Приходили инженеры всякие. Архитектора. Клювами щелкали. План-то до зарезу давно нужен. Без плана-то ни трубы не починить, ни провода понять где. Да провода-то ладно. Никто не знает, сколько в доме этом площадей, сколько лифтов. Ни одна квартира с другой не совпадает. Каждая наособицу. Те клювами пощелкали-то. Да и отползли.

– Ничего себе, – не удержался Зайцев. – А ногами сходить и пальцем комнаты пересчитать? Линейкой стенки померять или чем там.

– Куда. Такой домина запутанный. Там люди с образованием не поняли про него ни хрена. А ты... вы... «линейкой». Я только молюсь, чтобы он на голову жильцам не упал. Потому как его ремонтировать без плана – никакой возможности.

– А вот молиться это напрасно, – заключил Зайцев и повторил за Серафимовым, сыном священника: – Бога попы выдумали. Лучше трубы чините.

Крачкин так и сидел на скамейке, подставив лицо солнцу. Глаза зажмурены. Вид благостный.

– Ну? – спросил он шум зайцевских шагов.

– Хорошие новости, Крачкин.

Глаза раскрылись. Жадный взгляд.

– Тайник Варин может быть где угодно. Плана дома нет в живой природе. Сам дом запутан, как лабиринт. Найти Варин мемуар, если она его дома спрятала, а спрятала она его скорее всего там – где же еще?

– В мебели, – отозвался Крачкин. – Вот где еще. Только...

Крачкин поглядел в сторону. Шум мотора с улицы. Черный «Форд» казался пестрым от движущихся солнечных бликов. Ехал медленно. Зайцеву показалось, он принюхивается, водит рылом.

Крачкин перевел взгляд на свои руки замком, пошевелил большими пальцами, будто наматывая на них нить. Думал. И молчал.

– Ну говори же, Крачкин. Что только?

– Не нравится мне, что мебель уже кто-то вывез, а мы не знали.

Крачкин поднял голову. Смотрел на автомобиль. «Форд», должно быть, унюхал свое. Потому что привалился к тротуару, остановился у парадной.

«Совсем оборзели, – подумал Зайцев. – Раньше по ночам брали. Теперь уже среди бела дня не стесняются». Не сводил глаз и Крачкин. Большие пальцы перестали наматывать нить.

Выскочил один. Скрипнул сапожками и портупеей. Шофер остался сидеть за рулем. Больше из «Форда» никто не вышел. Брать ездили обычно по двое. Не считая шофера. «Видать, живет он здесь... Уж не Варину ли комнату уже новому жильцу передали? Комната-то аппетитная», – мелькнула обоснованная мысль.

Добрый молодец направился, однако не в парадную, а прямо к ним.

– Я сразу понял, из милиции – это вы, – сообщил. Вместо приветствия.

Ни Зайцев, ни Крачкин не отвечали.

В окне мелькнуло побелевшее лицо управдома. Даже с носа сошел цвет. Мелькнуло и пропало.

– А остальные товарищи где?

«Под дых. Сбить. Сами в разные стороны: Крачкин направо, я налево», – лихорадочно прикинул Зайцев. Но уже вышли из парадной и Нефедов, и Самойлов, и Серафимов. И дворник. Те еще ничего не поняли. Зато дворник выступал так, будто все трое были его

пленниками. Дворник, понял Зайцев: дворники – любимые осведомители ГПУ – всегда в курсе, кто пришел, когда пришел, к кому.

Самойлов и Серафимов увидели автомобиль, остановились. Остановился и Нефедов, лицо его по обыкновению не выражало ничего. Зайцев почти увидел стену ненависти, которой от него тотчас отгородились остальные.

– Садитесь. Прокачу с ветерком, – распахнул дверцу гэдэушник перед остальными. Шофер показал через лобовое стекло цепкие глаза.

– Куда? – спросил он.

– К вам, – просто ответил гэдэушник, вынимая что-то из нагрудного кармана. – Вы навестили здесь большую тетю и поехали обратно к себе в угрозыск. Работа не ждет.

Зайцев понял только, что опасность миновала – а может, не было ее. И тотчас перешел в ответное наступление:

– В чем дело? Вас кто прислал?

– Какую еще тетю? – Самойлов тоже понял, что это не арест.

Но гэдэушник и ухом не повел.

– Сами придумайте, – невозмутимо последовало им обоим. Гэдэушник развернул листок. Снял колпачок с пера. Поставил ногу на скамейку. Крачкин покосился на начищенный сапожок. Гэдэушник положил листок себе на колено. Протянул Крачкину ручку:

– Распишитесь напротив своей фамилии.

Что еще за дребедень, только и подумал Зайцев. Он решил, что сейчас сделает, как ожидают, зачем зря терять время и силы; а разберется – после.

Гэдэушник обернулся к остальным:

– Подходим, товарищи, не стесняемся.

– Что это? – занес перо Крачкин. Поднял глаза.

– Подписочка. Языком не трепать.

Крачкин накорябал подпись. Зайцев протянул руку за пером. Но гэдэушник перехватил – передал ручку Серафимову. Заметил будто между делом:

– Товарищ Зайцев, продолжайте работать над поставленной задачей. Помощь нужна?

Зайцев помолчал, чувствуя взгляды остальных.

– Нет.

– Вон он вам пусть помогает, – словно не услышав, кивнул гэпэушник на Нефедова.

Подписался Самойлов. Гэпэушник подул на чернила, сложил листок, убрал; лицо без улыбки, а голос оживленный:

– Слушайте, а кто такая гражданка Берг, она же под артистическим псевдонимом Метель?

Слышно было, как трещат воробьи. Как рокочет улица Красных Зорь. Как плещутся на солнце листья.

– Никто, – угрюмо ответил за всех Самойлов.

– Никогда про такую не слышали? – делано изумился гэпэушник. – Молодцы... Ну чего стоите? Полезайте. Или в трамвае охота толкаться?

Серафимов молча полез в машину. За ним Самойлов. За ним плюхнулся на сиденье Крачкин. В окнах «Форда» отсвечивало небо. Зайцев не мог разглядеть за стеклом их лиц.

Гэпэушник тоже взялся за ручку двери.

– А мебель где? – все понял Зайцев.

– В гробу мебель не нужна, – был ответ.

«КОЛЕЧКО, КОЛЕЧКО, ВЫЙДИ НА КРЫЛЕЧКО»

Он наигрывал «Собачий вальс» одним пальцем. Медленно, как будто перепутал с траурным маршем того же композитора.

Все внимали, не шевелясь. Но к удовольствию от музыки эта тишина отношения не имела. На лицах было напряжение, равное самому себе. У всех, казалось, была одна цель: собрать лоб, нос и рот в треугольник. Иначе от скуки лицо расползется, как тесто. Сидели и тарацились. И долговязый писатель, и крепыш в португее. И дама, имени которой я никак не могла запомнить. И господин с лицом, похожим на костяную пуговицу. Вернее, гражданин. Какие сейчас господа?.. Словом, все. Только тощая балерина матово сияла своей обычной красотой, которая заменяла ей выражение лица.

Я проглотила зевок. Спать не хотелось. Я чувствовала, что пьяна. Пьяна по последнему классу. Не тогда, когда весело, хочется приключений и вся ночь впереди. А когда тяжело, мутно и тянет в слезы. Странно. Вино, коньяки, все это у Тетерева было самым

лучшим – из разоренных особняков, владельцы которых были расстреляны или дали драпа (или и то, и другое одновременно). А тошно, как от сивухи.

Есть такие люди: с виду как обычные, но с ними даже самое лучшее вино не веселит, а бьет по голове. Назовут полную гостиную нескучных гостей – актеров, актрис, поэтов. Но и те ничего поделать не могут. От хозяина расплзается что-то такое, забивается в ноздри, заливается в уши. Вот уже стихает смех, одна за одной гаснут улыбки. И вечер пропал. Такие господа очень любили ходить в покойную «Бродячую собаку»: погреться у чужого веселья. Но владелец был не дурак и пускал не всех. А то бы они ему там быстро всё выморили. Тетерев был как раз таким. Он... А впрочем, надоело. Кого я выгораживаю? Что было, то было. Да и выдумывать им всем имена мне надоело. Я же не писательница. Фамилия его была Каплун. Борис Гитманович Каплун. Правая рука Урицкого.

Это ему наскучило брэнчать на рояле, чужом рояле, который он, вернее, его контора отобрала в свою пользу, хотя играть никто из них не умел. А впрочем, опять я за экивоки. Контора его называлась Петроградским ЧК.

Рояль, большой и черный, стоял для шика. Не удивлюсь, если в нем не было доброй половины струн.

Каплун снял палец с клавиши и сказал:

– А поехали в крематорий?

Никто не успел сменить лицо. Куколка-балетница по-прежнему рассматривала свое отражение в лакированной крышке. Поправит позу – и снова смотрит.

Первым ожил писатель с длинным носом, начал вытягивать свои длинные конечности (у него все было длинное: руки, ноги, шея, и сам он сидя похож был на деревянный складной метр, которым пользуются столяры):

– Куда?

Решил, что ослышался. Но всем так уже хотелось прочь из этой гостиной с ее парчовыми шторами в райских птицах, с ее белой шкурой на полу, с ее роялем и смутным ощущением, что находишься среди краденого (и что на обратной стороне шкуры – рыжие засохшие пятна), что все не переспрашивая бросились в прихожую к своим плащам, накидкам, шляпам.

Что до меня, то я подумала: наверное, это такое новое выражение новых хозяев жизни. В «Бродячей собаке» скучных богатых гостей называли «фармацевтами», но это вовсе не значит, что те таковыми и были. Я понадеялась, что «крематорием» чекисты называют обычный ресторан. Всё одно, мол, угорать.

Ехали мы кавалькадой на трех авто. Того же происхождения, что шкура, рояль, шторы. Где сейчас моя «Изотта»? – невольно думала я. Кого она носит? Куда?

В прыгающих столбах света от фар я разглядела, что мы на Васильевском острове. Линии.

«Не знала, что здесь есть ресторан».

Но ту часть Васильевского, что почище, мы проехали. Автомобили углублялись в ту часть, где уже не просто менее чисто. А прямо опасно. Даже в компании с людьми в кожанках, и особенно – их наганами. Но урчание моторов впереди и позади успокаивало.

Остановились. Компания долго выбиралась. Долго звали сторожа. Ни огонька. Я уже поняла, что это никакой не ресторан. Вспыхнул желтенький свет. От него даже дамы стали похожи на упырей. Но стоп, кажется, я уже придумываю – в тот момент я еще ничего не подозревала. Было только очень-очень холодно. Или не было? Почему мне вспоминается желание надеть шубу? Может, это было зимой? Била дрожь. Каплун велел развести печь. Служители забегали.

Не кафельную печь. Не буржуйку.

Печь-гигантшу. Это она жила в этом доме. В этом звонком зале. Здесь было ее логово.

Мы были в новеньком петроградском крематории. Как он и пригласил.

– Регенеративная. По проекту товарища Липина. Профессора Горного института, – пояснял Каплун. Теперь он преобразился. Теперь он ожил.

Служитель едва не съездил нам по физиономиям огромными железными щипцами на цепи.

– Есть старушка. Есть красноармеец.

– Старушку? Или красноармейца? – поинтересовался Каплун у балерины, как в былые времена у балерин спрашивали: к устрицам – белое вино или шампанское?

О, наконец поняла я: так вот ради кого весь спектакль. Весь этот вечер. Эти шторы с павлинами и «Собачий вальс». Жизнь меняется. Поменялась. Но пара сановник и балерина так же вечна в комедии российской жизни, как Пьеро и Пьеретта, Арлекин и Коломбина в итальянской комедии масок.

Не помню, обрадовало меня это открытие или удивило.

Балерина... А впрочем, я же решила писать без выкрутасов: это была Спесивцева. Ольга Спесивцева – едва ли не последняя балерина в Петрограде. Остальные разбежались за границу. Соперниц у нее не было. Говорили только о юной Лидочке Ивановой. Восходящей звезде. Петербург не может без дуэли балерин. Ни при царе, ни при СССР.

Все тогда были либо за Иванову, либо за Спесивцеву. Даже те, кто никогда не видел балет.

Я любовалась Спесивцевой. Ее даже загробный свет полудохлой лампочки не портил. Именно так я всегда представляла себе библейскую Рахиль. Черные печальные очи, твердый, как фарфоровый, овал, гладкие черные волосы. Глупа она была неимоверно. Но глупа – тихой, не болтливой глупостью. А там уж прекрасное лицо превращало ее молчаливую глупость – в загадочность и тайну. Многим нравилось.

– Старушку или красноармейца?

Она тихо указала. Прелестное лицо не выражало ничего, кроме печали, самой природой сложенной из бровей, лба, рта. Каплун сделал знак рабочему.

Опять щипцы с грохотом пронесли у всех перед носами. Лязгнуло. Стукнуло. Загудело.

Гости и гости прильнули к окошкам.

Наверное, это был красноармеец. «Легкие горят», – авторитетно пояснил кто-то. Все ахнули, когда от жара труп скорчило и он сел в своей огненной могиле. Но ахнули – как ахают дети от страшной сказки или публика в цирке в момент смертельного номера.

«Все вышло, как вы хотели», – нашептывал Каплун.

«А чего я хотела?» – отозвалась пери со своим обычным отсутствующим видом.

Я отошла от них, от оконца. А там всё ахали. «Смотри, смотри, из глаз какой огонь». Побрела в полумраке, глаза – в темных углах мне мерещились наваленные кости. Болела голова.

Я толкнула дверь, чтобы выйти на воздух. Но вышла в другой зал. Не пустой. Два молодца в кожаных куртках замерли, увидев меня.

– Вы кто такая?

– Я с Борисом Гитмановичем, – ответила я голосом пай-девочки. Эхо вернуло какой-то писк. Те не удивились. Видно, Каплун здесь часто бывал.

Один повыше, другой пониже, а соединял их большой холщовый сверток. Ну как большой. Не большой. Угадывались ноги, бедра, плечи. Холстина развернулась и выскользнула рука. Белая. Женская. Оба выругались. Стали завертывать руку, выронили труп. Что-то легонько звякнуло.

Молодая женщина. С разбитой головой.

Наверное, я вытарщилась. Потому что один сказал:

– Тут это... неопознанные тела сжигают.

А второй пояснил:

– Которые на улице нашли. Невостребованные.

– Без документов. Или у кого родственники не объявились.

Как будто им было не всё равно, что я подумаю.

Я стояла, прикипев к плиткам. Они тоже остановились, и запинка эта пугала: в ней чувствовалась мысль, тяжелое обдумывание. Не прибавить ли сегодня печи еще одно мертвое женское тело: мое.

– Я с Борисом Гитмановичем, – напомнила я. Эхо. «Боже, неужели у меня правда такой голос?»

Имя шефа остановило вращение мыслей в их головах.

– Иди. К остальным, – недобро напутствовали. Опять завозились. Поволокли. Я сумела сделать шаг. Но тут же выронила шаль. Подняла ее. И то, что звякнуло. Вернулась в зал к печи. Там все уже завершилось.

– Четыре минуты! – показывал часы Каплун с видом именинника. – Всего четыре минуты! Восемьсот цельсиев, товарищи. А?

Я припомнила: точно-точно, об этом все газеты шумели – Каплун был одним из идейных вдохновителей и материальных покровителей постройки крематория. Первого в Петрограде. Современный советский человек выберет огненные похороны, а не неопрятный старый обряд, родившийся из суеверий. Гигиена современного города. И так далее.

Пока все ахали, я рассмотрела свою находку. Дутенькое золотое колечко с красным камешком-леденцом. Я надела его себе на палец. Сжала руку в кулак.

Гигиена в особенности, да.

Газету я увидела уже вечером. На стенде возле Петропавловки. Вернее, я издалека увидела фотографию – над заборчиком голов в кепках, шляпках, косынках и босых: все молча читали. И увидев, конечно же, подошла к стенду.

Потому что это была она. Я узнала немного монгольские скулы, круглое простодушное личико. Руки с коротенькими пальчиками, а на одном – дутое колечко, только камешек на газетной печати вышел черным. Это и была Лидочка Иванова.

Газета писала, что лодка, на которой Лидочка отправилась на прогулку с приятелями, в устье Невы столкнулась с катером и перевернулась. Надо же такому случиться: как раз накануне отъезда Лидочки за границу – на гастроли. Тело не нашли. Писали о горе родителей, которые надеялись воздать дочери хотя бы достойные похороны. Предсказывали, что его вынесет волнами в ближайшие дни: так обычно Нева поступает со своими мертвецами.

Но я знала: не вынесет. Ни в ближайшие дни, ни через год, никогда. У Ольги Спесивцевой больше не было соперницы.

Глава 8



Голубой бензиновый дымок растаял. Влился, как дыхание в толпе, в испарения улицы Красных Зорь. Опять в воздухе стояло солнечное щебетание, граждане сновали по тротуарам, подставляли лучам неизбалованные лица.

– Ввиду некоторых потерь в живой силе, – попытался Зайцев говорить беззаботно. Нефедов все смотрел туда, куда скрылся автомобиль. – Перераспределяем задания. А именно...

Нефедов и ухом не повел.

– Нефедов!

Повернулся.

– Ну что ты стоишь, как на выданье. Слышал, что я сказал?

– Их ведь не арестовали? – тихо спросил.

– Да нет. Что ты. Он выглядел как мудодон. Говорил как мудодон. Но всё в порядке... Именно поэтому он мудодон.

Сонное лицо Нефедова чуть посветлело.

– Невиноватых не сажают. Разберутся и отпустят. – И добавил: – Разобрались же и отпустили.

Зайцев хотел сказать: ты бы, Нефедов, не совал нос, куда не надо. Но вдруг мелькнуло: Нефедов не о нем говорит – о себе самом. «Его не перевели в угрозыск из ГПУ. Его сперва посадили. Сломали пару ребер. А потом перевели». И теперь уверены, что они вдвоем будут плясать на проволоке, прыгать через голову. И держать рот на замке. Без всякой подписки.

Думал Зайцев одно, а говорил другое:

– Нефедов, выбирай. В Большой дом – мебель вызволять. Или соседей щупать.

Большим домом весь город называл новенькое – и правда очень большое – здание ГПУ на проспекте Володарского – бывшем Литейном.

– Крачкин, может, прав. Элегантные дамы прячут секреты либо под панталонами, либо под обивкой. Я в психологию не верю. Но я и в элегантных дамах царского режима ни в зуб ногой. Под панталонами мы не нашли ничего, кроме писем. Остается, стало быть, мебель. Хоть я и ума не приложу, как могут выглядеть ее мемуары пресловутые. Может, это гробух – лежит в диване под подушкой и нас ждет. А может, она записки на папиросной бумаге вела, в шарики скатывала, а шарики в полую ножку стула запихивала. Тут простор! Кроме того, с соседями поболтать нужно. Да и комнатки остальные посмотреть.

Нефедов покачал головой.

– Чего гривой трясешь?.. Или я в Большой дом, а ты здесь?

– А здесь-то теперь что?

– Как это? Убита женщина. И поиск убийцы никто не отменял.

Нефедов явно хотел сказать что-то – например, что в Большой дом он ни ногой. С таким же успехом можно соваться в пещеру к людоеду: может, выйдешь. А сказал:

– Я мебель найду.

Развернулся и пошел к трамвайной остановке.

– Не торопись только! – крикнул спине Зайцев.

* * *

На него смотрела Варвара Метель. Кокетливо, грустно, холодным взглядом избалованной звезды. С улыбкой и без. Подперев щеку или закинув обе руки за голову в диадеме. В гриме для кино и в гриме для жизни. В шляпе, без шляпы, в купальном платье, в вечернем туалете с боа из перьев. Фотографии были развешаны веером и занимали всю стену. Некоторые были украшены бумажными цветами, лентами, за некоторые – заложены старые билетки, афишки. «Ничего себе иконостас», – подумал Зайцев, а вслух сказал:

– Красиво.

Наталья Сеницына покраснела и убрала руки под фартук. «Чем она теперь занимается целыми днями? – подумал Зайцев. – Когда хозяйки, которая не жрет повидло, больше нет и не для кого бегать искать свежие яйца». Он в одно мгновение выбрал взглядом вязаную скатерку, фикус, стародавическую опрятность.

– Что ищете? – не выдержала хозяйка.

Прятать здесь было нечего – негде.

– Процедура, – ответил Зайцев. Он глядел на бесплодно голые – если не считать иконостаса – стены.

Большой серый кот вынырнул ниоткуда. Появление животного вызвало в Сеницыной волшебное превращение. Она окаменела. Побелела. Кот потерся об соляные столпы ее ног. Направился за лаской к Зайцеву. Тот сделал вид, что не заметил паралича Сеницыной. Присел, сперва дал кошаку понюхать свою руку – вежливость прежде всего. Кот поднес одну ноздрю, поднес другую, после чего разрешил: подставил под ладонь круглую спину с трубой хвоста.

– Не выдавайте, – очнувшись, умоляюще зашептала Сеницына, мотнула головой на иконостас актрисы. – Воротит ее от кошек.

Зайцеву стало слегка не по себе. От настоящего времени.

– Она простит, – деликатно заметил он. – Она была хорошим человеком.

Со свидетелями и кошками – деликатность прежде всего.

Синицына слегка заламывала руки, как наверняка делала хозяйка в одной из своих фильм.

– Они не простят. Что против воли ее пошла.

Панический взгляд на закрытую дверь, на коридор за ней, на подразумеваемые комнаты. «Соседи».

– Про котейку я молчок, – пообещал Зайцев. Та расцвела. Взяла кота под живот, подняла. Он сидел у нее в руках и поглядывал равнодушными лунными глазами.

– Вы мне, Наталья, вот что скажите. Не писала ли хозяйка ваша чего в последнее время?

– Это чего?

– Ну с карандашом или с ручкой вы ее не заставляли?

– Как обычно.

– То есть?

– Письма она писала, это да.

– Письма?

«Точно. Переписка под панталонами. Свеженькая, значит».

Синицына выдвинула из-под кровати плетеную клетку. Кот запротестовал, но она мягко затолкала его, заперла дверцу.

– Не ори. Потом выпущу. Гости уйдут – и выпущу.

Зайцев отметил это «гости». Синицына задвинула корзину под кровать.

– Уверена, что письма это были?

– А что еще-то? Не стихи же.

– Ну не знаю. Вдруг стихи.

– Так она ж мне сама отправить отдавала.

Почта! Мог Варин мемуар улизнуть из квартиры вот так? Страница за страницей, по капле. Мог.

– А кому, не помните?

– Что я, шпионка? – с достоинством последовало.

– Я имел в виду: не обратили ли внимание случайно, что за адрес на конвертах?

Пожала плечами.

– В Ленинграде? По Союзу? В республики? – допытывался у Синицыной он.

Помотала головой: нет. «Может, врет», – не поверил Зайцев.

Другая тема интересовала ее:

- Вы про кошака только...
- Ни-ни, могила, – пообещал Зайцев.

Дома были и ближайшие соседи убитой – Ступников и Легри. Комната слева и комната справа от зала, в которой заточила себя актриса. Они интересовали Зайцева прежде всего: если кто что и слышал той ночью, то они.

Зайцев сперва постучал к Ступникову. Тишина. Несколько раз стукнул по двери ладонью. Потом поколотил кулаком.

Покосился. На двери справа – двери той залы, где жила убитая актриса, – белела недавно оборванная бумажка с его, Зайцева, автографом.

Бам-бам-бам.

Из двери напротив высунулась соседка – уже знакомая ему Елена Львовна. Теперь она стыдливо прикрывала папильотки надо лбом.

– Добрый день. Его что, дома нет? – удивился Зайцев. Синицына только что уверила его в обратном.

– Дома он, дома, – прошептала профессорская вдова. – Не стесняйтесь.

И пропала в своей комнате. Новый визит ее, похоже, не сильно удивил, отметил Зайцев. Или воспитанные дамы не выказывают удивления?

Вдова вынырнула снова – теперь на голове был платочек. Деловито пересекла коридор. Встала к лесу задом, к Зайцеву передом. И несколько раз лягнула дверь Ступникова каблучком. С силой, которую Зайцев не ожидал от профессорской вдовы и маникюрши. Казалось, что от пушечных ударов хлопнется вниз лепной потолок.

– Ну вот, – любезно улыбнулась. – Теперь ждите.

И проскользнула к себе.

Сначала не было ничего. Потом за дверью послышалось шарканье. Потом высокий немолодой голос спросил, звонко отделяя слово от слова:

– Кто там?

И дверь, не дожидаясь ответа, открылась. Ступников оказался гражданином лет шестидесяти: совершенно лысым, худощавым. Он приветливо улыбался. Делал пальцем приглашающие жесты к своему уху. А возле уха держал воронку.

В его комнате Зайцев ничего не нашел.

И опять в дверь пришлось тарабанить. Теперь уже в ту, что справа от Вариной залы. И опять высунулась Елена Львовна. Только папильоток уже не было: волосы были взбиты надо лбом по моде, когда рукава платьев подражали воздушным шарам.

И опять она решительно направилась к двери. Лягнула ее каблуком. И когда в открывшуюся щель показалась заспанная нечесаная голова, светски спросила:

– Милочка, вы опять переели вероналу?

– А веронал зачем? Служба нервная? – любопытствовал Зайцев, оглядывая в комнате рулоны бумаги, какие-то металлические острые щепочки, большой наклонный стол.

Гражданка Легри, Вера Ивановна Легри, не служила. Она работала на дому чертежницей-копировщицей. А веронал принимала с тех пор, как вернулась из Крыма в 1919 году.

Стало понятно, что убийце Вари не грозил чуткий сон соседей за стенами: слева глухой, справа – нервная женщина на веронале. «И это не просто везение. Он знал, что так и будет... Или она», – поспешил поправиться Зайцев, как будто Самойлов был здесь и настаивал, что искать надо женщину.

Занятно, подумал он: Варя не могла спрятаться от ока соседей, но она хотя бы спряталась от ушей – подсекая жильцов, обдуманно выбрала себе ближайших соседей. «А она не дура. Была».

У Легри он тоже ничего не нашел.

Соседи начали возвращаться домой после дневных дел. Каждый находил для него приветливое слово. То ли правда имели это в виду. То ли просто с манерами и выдержкой у всех было в порядке. Да, Варя определенно позаботилась, подбирая себе жильцов.

Зайцев глаз не сводил. Впустую. Ни обмена мимолетными предупреждающими взглядами, ни столь же красноречивых запинок, ни слишком внимательных глаз, ни слишком напряженных шей не заметил. Вели они себя так, будто мильтон в квартире был обычным делом. «Гостем», как сказала Синицына. Просты, милы, опечалены потерей. Живущие дальше. Так ведут себя либо невинные, либо хорошо сговорившиеся и теперь непошибаемо уверенные, что все им сойдет с рук. Либо полностью спятившие.

И мотива – не видел.

«Кошак?» Ему случилось видеть, как убивали и за меньшее. Допустим, нелегальная тварь брызнула под ноги артистке. Коты разрешений не спрашивают. Истерика хозяйки. Паника Сеницыной. Прибежала из кухни. Не соображает – лишь бы прекратить ор – нож – бах! Потом одумалась, раскаялась. ...Бред.

Соседи бы тогда узнали нож.

«Черт-те что, – думал Зайцев. – А я? Я, например, помню, что там у моих соседей за вилки-ножи на кухне?» Перед ним дымился чай. Он проголодался, и чай был кстати. Заботы о «симпатичном милиционере» переняла Легри. Она уже ожила и теперь заряжала себя кофе, чашка за чашкой. Елена Львовна ушла к клиентке – теперь уже пришлось заботиться о пропитании самой. «О, это такая важная дама». Зайцев наострил уши. И когда маникюрша вышла, на всякий случай записал и фамилию дамы, и адрес, и должность мужа.

Под категорию «водятся деньги» она уж точно подходила.

– Еще чаю? – веронал из организма Легри еще не весь вышел, а крепчайший, черный и масляный, как нефть, кофе еще не взял власть. Движения у нее были медленные, плавные. Как и взгляд, как и речь.

– Спасибо, – Зайцев подвинул к ней стакан. Она наклонила чайник, сперва пролила на стол, потом попала. Поставила чайник на самый край стола (чудом – не мимо) и лунатической походкой выплыла из кухни. Чуть не врезалась в соседа Гинкина, но тот движением танцующей баядерки из одноименной оперетты сумел увернуться.

– Товарищ милиционер, вас к телефону, – позвал он.

– Меня?! – изумился Зайцев. На один безумный миг ему почудилось, что он и правда давно здесь живет.

В коридоре взял черный рожок. Посмотрел на Гинкина. Тот извинился, испарился. Было слышно, как за стеной жужжит бормашина и приглушенно стонет пытаемый: там после работы принимал частных пациентов зубной техник Апфельбаум, и там же, за ширмой, жил.

– Зайцев.

– Мебели нет, – без приветствий доложил ничему не удивляющийся голос.

– Как это?

– Перевезли на склад ГПУ. Особым распоряжением.

– Ну, Нефедов, ну детский сад, епт... Так поезжай на этот самый склад. Не надо мне про каждый свой чих рассказывать.

– Я на нем, – уточнил Нефедов. – Здесь – нет.

С улицы Красных Зорь бывшее имущество актрисы пришлось вывозить на нескольких телегах и грузовике. Не иголка пропала.

– Продолжай.

Зашуршали страницы.

– Предметы мебели как не представляющие художественной ценности и ценности для розыскных мероприятий распределены по ордерам, – закончил читать Нефедов и добавил: – Среди сотрудников ГПУ.

И не удержался:

– Во дают.

Зайцев захохотал так, что за стеной остановилось жужжание бормашинки и выглянул сам зубной техник в опрятном белом фартуке. Зайцев махнул рукой: мол, все хорошо. Тот пропал.

– Вы здесь? – спросила трубка.

В ГПУ, как в любой большой организации, не только правая рука не знала, что делает левая. Как в любой большой организации, начальство и мелкая сошка преследовали каждый свои интересы, которые иногда сталкивались, но чаще – не пересекались.

– Быстро они... Закон природы, Нефедов. В очередной раз убеждаюсь. Чем мельче тварь, тем быстрее и проще она действует. Например, вошь.

Тот ждал распоряжений. Зайцев продолжил:

– Ты не обратил внимание, как звали этого чудилу сегодняшнего, в сапожках? Который наших с Красных Зорь в авто своем умчал?

– Нет.

– Проверка бдительности, Нефедов. Повнимательнее в следующий раз... Я обратил. А фамилия его Ревякин. Так вот, разыщи его. Пусть товарищ Ревякин поднимет задницу и вытряхнет Варины мебели из своих шустрых воришек. Про художественную не знаю, а розыскную ценность они очень даже представляют.

Нефедов повесил трубку.

Зайцев не стал допивать чай. Посмотрел в своем блокноте план квартиры. План был нарисован им самим и, конечно, не мог

подсказать, что где-то стеночка не доходила до стенки, образуя тайную пазуху. В прямоугольниках комнат были вписаны фамилии соседей: свидетели любят, когда к ним сразу обращаются по имени. Следующим, впрочем, был уже знакомый ему механик Петров Михаил.

Он осторожно вынул рамку из ящика.

– Это ее, – сухо пояснил Петров. – Варвары Николаевны.

Он покраснел. В рамке была не фотография, не картина, а кружевной платочек. Зайцев понял сухой тон: Петров боялся показаться сентиментальным. «Среди нас хлюпиков нет», – посочувствовал ему Зайцев.

– Обронила в авто.

Зайцеву вдруг стало неловко, что он шарит в чужих вещах. Трогает равнодушными, хуже – деловыми пальцами. Вдруг показалось, что у вещей в комнате Петрова есть свое мнение, что они чувствуют прикосновение, ежатся.

Сам Петров стоял, вжавшись спиной в дверной косяк. И только что на цыпочки не встал – чтобы еще больше уменьшить свое присутствие: не мешать следствию.

Это Зайцев тоже отметил. Все соседи говорили с ним с готовностью. Без звука распахивали перед ним свои комнаты: только ищи. Только найди, кто ее убил. «Либо уверены, что не найду ничего. А уверены, потому что знают. Либо... невиновны». Он всегда подозревал в людях худшее, но так же всегда помнил и признавал возможность второго.

В жизни бывшей киноартистки у Петрова была своя роль: чинить всё, что ломается.

Сухо:

– Найдите, кто это сделал.

– Постараясь.

Зайцев положил рамку обратно в ящик, задвинул.

– Она была в сущности хорошим человеком.

«Довольно странное замечание о красивой бабе», – отметил Зайцев. Но кивнул. Посмотрел на комод. На блестящую, в идеальном порядке решетку, что висела над комодом. На автомобильную эмблему – выгнутую крылатую фигурку. Блестящая хромированная решетка

была единственным украшением спартанской чистой комнатки Петрова: так и хотелось сказать «стародевической». От всех комнат здесь, в той или иной степени, веяло чем-то стародевическим, подумал Зайцев. Им не нужна была собственная жизнь – им хватало жизни вокруг кумира.

Взгляд его так и стоял на хромированном блике.

– «Изотта-Фраскини», – подал голос Петров.

Зайцев не слишком разбирался в автопроме, кивнул, берясь руками за угол комода:

– Хороший агрегат.

Петров ему понравился. Более того. Обойдя, обстукав комнаты, перещупав руками их жалкое барахлишко, Зайцев готов был признать: ему все соседи показались симпатичными. Каждый, конечно, на свой манер. Нелепые, жалкие, деликатные, чудаковатые. Ни на ком Зайцев не разглядел зубов, жал, сосательных трубочек, когтей, которыми обыватель впивается в жизнь.

– Не скажите, – вдруг оживился Петров. – «Изотта» – капризуля. Чуть не по ней, прошу. Сколько я у ней под брюхом пролежал, вам не передать. Вроде уж и смотрю: всё в порядке. Всё исправно. А не идёт. Ну что ж тебе надобно? А она – ни в какую. Итальяночка. Темпераментна.

Он был из тех шоферюг, которым авто всегда «она»: жена или любовница.

Комод с грохотом отъехал от стены. Что-то с тяжелым звоном упало на пол. Зайцев заглянул.

Верить нельзя никому.

Это были ножны.

Мог Петров прирезать Варю? Мог. Обожал, но мог. Платочек, вон, подобрал, в рамку вставил. Палладин.

– Что там? – заглянул Петров.

И обрадовался:

– А, вот они где!

Проворно подхватил ножны.

Вот и мотив. Допустим, увидел аванс там, где его не было. Или накопилось у него за годы обожание, пошло через край. Полез с нежностями – она по мордасам – у него обида – нож – бах!

А параллельно бежали другие мысли: перехватить запястье – заломить руку – соседи вызовут кавалерию.

Петров отстегнул клапан. Блеснула рукоять. Потянул за нее.

Отвертка.

– Немецкая. А я думал, в трамвае украли, – радовался находке Петров.

– Вы как с ней познакомились? – спросил Зайцев.

– С «Изоттой»?

– С Варварой Николаевной.

– Комиссовали меня с фронта. По ранению, – принялся рассказывать Петров – положил ножны обратно на комод. – Куда податься, не знаю. Хоть с моста. Пошел напиться для храбрости. У «Медведя» в баре. Вдруг – она. Я спьяну и не понял, что это та, известная. Слово за слово. «А кем служили? Авторота? Грузовики Мгеброва?» А вы, говорю, знающая. Они с «Фраскини» в родстве по мотору. Ну и в шоферы к себе взяла.

Петров любовно погладил радиатор. Ни пылинки. Остановился ласковым пальцем на фигурке с крыльями.

– Чего ж податься некуда было? – спросил Зайцев. – А домой?

– Дом... Какой уж дом. Родители померли давно.

– Ну жена там...

– А нужен я ей? Дело прошлое, мне теперь сказать не совестно. Да и не больно. Такое ранение у меня было, представляете ли, что женскому полу я стал без интереса. А он мне.

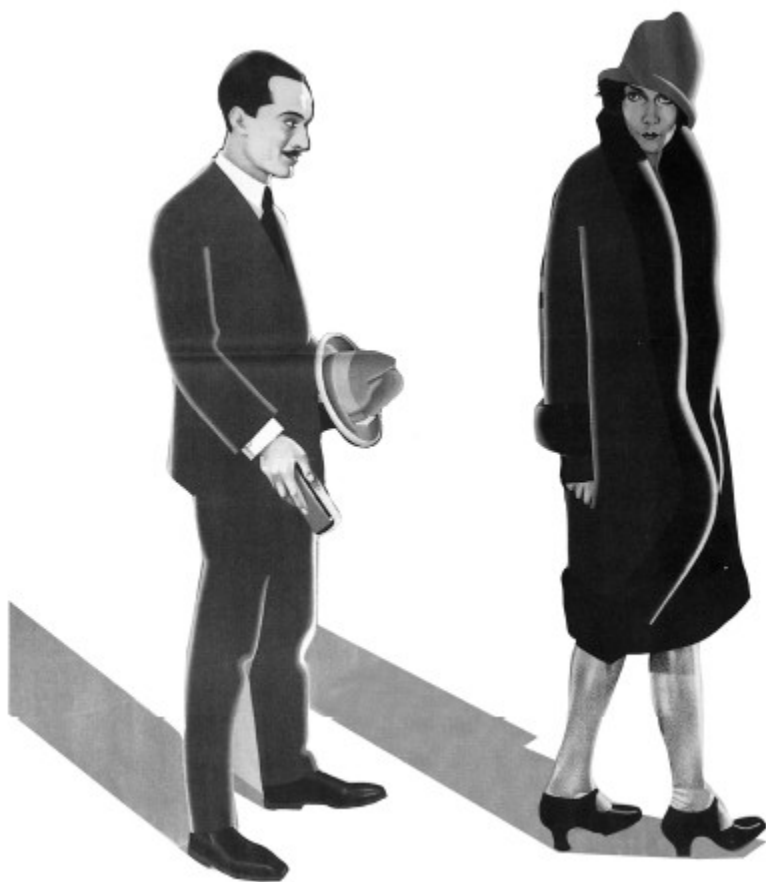
– Судьба-индейка, – пробормотал Зайцев со всей возможной деликатностью. – Вот ведь мухоедство.

– Ни-ни! – махнул рукой Петров. – Вот уж ничуть, если хотите знать. Хорошо, что я тогда с моста не сиганул. Потому что потом понял: не наказание это, а освобождение! От баб хлопоты одни... А с ней... – окрасился его голос нежностью, – у меня новый смысл жизни появился. Варвара Николаевна часто говорила: мы с тобой, Мишель, схожие натуры.

Он смотрел на радиаторную решетку.

Зайцев вздохнул, придвинул комод обратно к стене.

Глава 9



Вечерний воздух даже здесь, на улице Красных Зорь, пах рекой. Зайцев вдохнул с наслаждением. После многочасового обыска, барахтания в чужих жизнях, по всей коже щекотало мерзкое чувство, что не он, а его самого – щупали, трогали, переворачивали.

Он пропустил налитый электрическим светом трамвай. Решил идти пешком. Обдумать – вернее, выкинуть из головы увиденное, услышанное. Развеять в уличном шуме, проветрить на невском ветру.

Мысли были цепкие, кололи под теменем. «Психология...» – раздражался он на трамвай, на ветер, на прохожих, на тумбу, которая в самые глаза заорала УТЕ, но фамилия артиста закруглилась и пропала за поворотом круглого бока.

«Какая еще психология? Факты!»

Факт был в том, что фактов не было. Только психология и оставалась.

Темнело медленно. Все еще не растворился в синеве воздуха голубой купол мечети, все еще виден был золотой шпиль Петропавловки.

Но и она осталась позади. Постепенно сердце начало биться в ритме шагов. Мысли никак не развеивались.

Соседи Вари выглядели опечаленными, да. Просили: найдите, кто ее убил, – да. Но в то же время Зайцев чувствовал их молчаливое облегчение. Словно вся квартира выдохнула. Чуть ли не напевая пошла к другой клиентке Елена Львовна. Синицына могла теперь ласкать своего кошака, не опасаясь гнева хозяйки. Даже добрейший Апфельбаум летал: теперь можно принимать пациентов на дому – не в тягость госпоже. Варя была их королевой. Но любая королева – всегда тиранша. Он вспомнил слова Петрова насчет баб: думал, наказание, оказалось – освобождение. Это всё как – психология?

Впереди, на другом берегу уже росли дворцы и особняки, розовеющие в последних лучах. Поднимал свой меч нарядный легкомысленный Марс, изображавший полководца Суворова. Кусты за его спиной уже стали темно-синими.

...И письма! Еще эти письма.

Зайцев решил, что завтра непременно с Крачкиным поговорит. Что гэпэушник отвез их обратно в угрозыск, а не куда Макар телят гонял, Зайцев был уверен: арестовывать ездили численным преимуществом, а не один на четверых.

* * *

Утром на своем столе он нашел папку. Сверху лежал листок. Зайцев тут же схватил его: заключение по пальчикам соседней гражданки Берг. Сличены с образцом, снятым с крышки рояля. Совпадений нет.

– Что там? – окликнул его в спину Нефедов.

– Пальчики. Ремиз, – ответил Зайцев, развязывая тесемки папки. И умолк: письма, найденные в комнате убитой. Но ни записки от Крачкина, ни отметок на полях. Это как понимать?

– Эх, Нефедов, завидую тебе, – пробормотал Зайцев. – Воришек гэпэушных шугануть – святое дело.

– Поедемте вместе?

– Куда мне. Тут Крачкин работы подсыпал... Ты там сам, и от моего имени тоже. Хорошенько так их вздрючь. Чтоб в другой раз, когда опять тырить будут, ёкнуло у них внутри.

– Есть.

– Врешь ты, Нефедов. Скажешь: стул сюда, распишитесь здесь. Вот и вся вздрючка... Ладно, бывай.

Нефедов вышел. Зайцев снял трубку:

– Дежурный? Крачкин на выезде? Нет? Отлично.

Зайцев взял папку. Открыл наугад и тут же закрыл. Ему не терпелось узнать, что выжал из них старый сыщик.

Крачкин, не разгибая спины от стола, махнул ему рукой. Другой он наводил увеличительное стекло на образцы белого порошка: крошечные горки в ряд. Видимо, изъятый у разных торговцев кокаин.

– Чего у тебя, Вася? Минутку.

Накрыл образцы стеклянным колпаком. Выключил яркую лампу. Перед глазами у Зайцева несколько мгновений плыли голубые червячки. Он сморгнул. А когда снова прозрел, Крачкин уже увидел папку. Узнал. И теперь смотрел на Зайцева как на пустое место. То есть вежливым петербургским взглядом чуть выше бровей. «Хорошенькое начало», – не понравилось оно Зайцеву.

– Что там у тебя? – повторил, но теперь уже голос был студеный вне сомнений.

– Ты их ведь прочел?

Молчание.

– Что скажешь?

Тот же вежливый взгляд.

– Поговори со мной, Крачкин, а? – взмолился Зайцев.

– С радостью. О чем?

– Письма Варины...

– Какой Вари? – перебил Крачкин.

Зайцев опешил.

– Слушай, Крачкин. Мне до фени, что там за бумажку ты подписал, при чем здесь какой-то мемуар, был ли он вообще и кому так нехорошо нужен. Мне другое не до фени. Убита женщина. И сама

она своего убийцу не найдет, к суду не приведет. Варя писала письма. Ты их прочел.

Крачкин помолчал. «Ну, – подумал Зайцев. – Ну же».

Тот помолчал. Но теперь поглядел в глаза:

– Не читал ничего такого. Откуда ты взял?

Зайцев пожелал товарищу Ревякину и всему его ведомству пузыри на zenки. Попробовал еще раз – осторожно:

– Видишь ли, Крачкин. У меня есть письма одной женщины... Имя ее не известно.

Крачкин ответил взглядом столь уничижительным, так гневно ударил ладонью по тумблеру лампы, так решительно взялся за стеклянный колпак, что Зайцеву стало совестно. «Nice try. Идиот», – мысленно обругал он себя.

– А знаешь, Крачкин, не обращай внимания!..

Но Крачкин и так не обращал: уже склонился над своими порошками в свете мощной лампы.

Зайцев вернулся к себе. Хлопнул папку на стол. Тяжко шлепнулась. Читать не перечитать. Зайцев снял трубку:

– Викентьев? Викентьев, не в службу, а в дружбу. Ты когда сменяешься?

Дежурный ответил.

– Отлично. Захвати из столовки мне пожрать? ...Да когда время у тебя будет, мне тут все равно до ночи куковать. ...Угу, просто стукни тогда в дверь. ...Спасибо, ты человек. ...И чаю! Чаю, не забудь!

После чего выдернул из телефона шнур. Положил на стул лист бумаги, карандаш – выписывать все встреченные имена, адреса, зацепки.

Плюхнулся на молескиновый диван, устроив ноги на подлокотник, и раскрыл папку.

«Мне было очень хорошо с Вами – далекой, близкой и призрачной, но более настоящей, чем кто-либо. Сегодня я глядел на круглый кофейный отпечаток на столе, и мне нравилось воображать, что это вы его оставили».

«Ишь ты, – подумал Зайцев. – А все-таки я не ошибся: хахаль». Он сразу посмотрел в конец письма. «Владимир». Ни фамилии, ни

адреса. «Вот вам и монашка-затворница. Получается, выходила-приходила». Ладно.

Протянулся всем телом к стулу, записал вверху страницы: Владимир. Коряво нарисовал рядом сердечко, пробитое стрелой. Снова откинулся на скрипнувший валик и принялся читать дальше.

Папка постепенно становилась все тоньше, а стопка на полу всё выше.

«Я никогда не забуду Ваших слез и Ваших улыбок».

«...мы были почти счастливы. А для таких людей, как мы с Вами, почти счастье – это уже очень большое счастье. Улыбайтесь почаще так, как Вы...»

Зайцев читал и читал. Шуршали листки с давно расправленными сгибами.

«...лежу в темноте с открытыми глазами и мучительно долго не могу заснуть. Стараюсь думать о работе и думаю о Тебе. Я не знаю счастья, я не знаю, есть ли у меня право желать счастья Тебе, но если даже тень его сможет промелькнуть по Твоему лицу, когда Ты думаешь обо мне, она будет для меня самым огромным счастьем в жизни».

Иногда ему казалось, что жаром со страниц обдаёт лоб, щеки. Иногда – что сечет дождем и студит.

«...что же нам делать с нашими горестями, если они приходят к нам с таким убийственным однообразием? Страдания начали изматывать и принижать людей, как служба. Все слезы идут по одной и той же дороге».

«Здорова ли Ты, моя радость?»

Тело давно онемело, а глаза с трудом разбирали буквы в полумраке.

«Может быть, ты так хороша, что даже сама не знаешь, сколько грации, нежности Ты...»

Наконец, последний листок. Зайцев гадал: разлука? Обещание жениться?

Но в глаза прыгнул незнакомый почерк:

«Уважаемая Варвара Николаевна.

Интересующие Вас события имели место в 22-м году. Точнее сказать не могу, сам не помню.

Привет,

Утесов».

И папка показала картонную спину. Зайцев очнулся. Воздух в кабинете был синим. Тело тут же напомнило о себе: в ноге покалывали иголки, желудок завывал, мучительно хотелось в туалет. Зайцев встал, осторожно ступая на покалывающую ногу. Похромал к двери. Отпер. Под ногами звякнуло. Он тупо уставился вниз. «Стакан? Зачем здесь стакан?» У самых ступней его стоял стакан с давно остывшим чаем. Сверху ломти хлеба, масло на верхнем растаяло и заветрилось. Зайцев не сразу вспомнил Викентьева. Мысленно поблагодарил участливого и исполнительного дежурного. Поднял стакан. Понес к столу, на ходу отхлебывая, откусывая. Поставил – и тут же опять о них забыл.

У дивана голубел в сумерках ворох прочитанных писем. В сиденье стула, казалось, было прорезано окошко: листок бумаги. Сердце, пронзенное стрелой.

Зайцев записал для порядка: Утесов, 22 г., отв. на запр.?

И уставился на то единственное имя, которое значило для убитой так много: Владимир.

Ни фамилии, ни адресов. Все письма были написаны одним и тем же человеком, и все они были любовными, вне всяких сомнений.

– Владимир, – вслух пробормотал Зайцев окну, другому берегу Фонтанки, домам, крышам. – Где ж тебя теперь искать?

* * *

– Нефедов, – не выдержал Зайцев. – Ты внимательно читаешь?

Нефедов показал глаза, отложил очередной лист. На совином лице мелькнуло осуждение: мол, конечно.

– Я просто пока никаких имен или адресов не встретил, – пояснил.

Взял следующий. Сфотографировал зенками. Отложил. Взял следующий. Зайцев вспомнил, как вначале их знакомства подозревал, что Нефедов – неграмотный. Потом – что в цирке он выступал не с гимнастикой, как говорил, а с мнемоническими фокусами. Раньше его это изумляло. Теперь просто бесило.

– Ты вчитывайся!

Нефедов отложил листок. Взял следующий.

– Зачем? Понятно же, что шуры-муры тут у них.

Перевернул. Окинул взглядом обратную сторону, отложил.

– Шуры-муры! – воскликнул Зайцев.

Тихо шуршали переворачиваемые, откладываемые листы. Зайцев ждал. Смотрел на склоненное темя с вихром.

– Тебе не грустно, Нефедов?

– Потому что зацепок нет? – отозвалось темя, не поднимаясь.

– Эх, Нефедов. Ну как тебе объяснить... От мысли, что вот нас с тобой никто так любить не будет.

Нефедов хмыкнул.

– Очень надо.

– И мы с тобой тоже так никого не полюбим.

– А вы почему знаете? – слегка обиделся Нефедов.

– Ты смотри, как он ей заливает. Феерия.

– А что такого?

– «А что такого». А то, Нефедов, что это ж ему сперва в голову пришло. Вот мне бы такое в голову не пришло. Значит, я такого никогда и не почувствую. А почувствую только что-нибудь бедненькое, цветастенькое, популярное: «у самовара я и моя Маша», вот и всё... Грустно.

Нефедов тарачился взглядом, каким недавно на Зайцева тарачился кот Синицыной.

– Да ну тебя, Нефедов.

Наконец Нефедов перевернул последнее письмо.

– Утесов. Это известный или однофамилец?

– Выясним... Ну, каковы впечатления?

– Какие впечатления? Он же ничего толком тут не пишет. Фактов ноль. Одна психология. А Крачкин что думает?

– То останется при нем. Забыл, что ли? Товарищ Ревякин скрепил нам всем, так сказать, уста. А насчет фактов ты не прав.

– Так нет же их тут!

– Вот это и есть – факт. Не писал он своей даме червонной ни про неприятности по службе. Ни про бублики. Ни хоть бы про погоду или где его черти носят. Почему?

– Очень ей интересно.

– Не скажи. Влюбленным интересно всё. Кто из соседей в суп плюнул, кто из сослуживцев подписку на заем срывает.

Нефедов смотрел с сомнением.

– Что, если не писал он ей фельетоны из своего быта, потому что про быт его она и так знает? – продолжал Зайцев. – А знает, потому что живет этот Владимир в Ленинграде. И сам ей новости рассказывал.

– А письма тогда зачем писать?

– Ну ты даешь, Нефедов. А шуры-муры? Женщины любят трофеи... А соседи, значит, не знают всё или свистят, что не выходила она никуда и не навещал ее никто.

– Нет.

– Что нет?

– Она артистка.

– Ну и что? – удивился Зайцев. – Поэтому и свистят. Лакируют действительность.

Нефедов покачал головой:

– Если бы меня полюбила артистка...

Зайцев сдержал улыбку.

– ...я бы ей тоже не стал рассказывать про некрасивое. Может, они с этим Владимиром не одного поля ягоды. Вот он и старается это лишний раз перед ней не выпячивать. Про красивое заливаает.

Зайцев задумался. Собрал письма. Завязал папку. Подошел к сейфу, стал вертеть колесико.

– Хм. С таким психологическим наскоком ты скоро обставишь самого Крачкина.

И поспешил добавить:

– Не издеваюсь! Может, ты и прав. Есть еще вариант: трындел этот Владимир с ней по телефону. Тогда получается, и соседи не брешут, и мы на верном пути. Хоть и странный романчик у них, конечно. В любом случае: найти б нам этого Владимира.

– Думаете, он ее убил? На почве страсти?

– Не скажи впереди паровоза. Всё, что мы знаем, – романчик был у них... Может, он и есть наш неизвестный, что пальчики оставил на рояле. Может, и порешил ее тоже он. И цапки прихватил. На память о былой любви. Широкие возможности этот Владимир нам открывает. Навоображать на таком материале много чего можно. Поэтому теперь

двигаться надо особенно осторожно. Строго за фактами идти... Кстати, как там воришки? Вернули мебели, не пикнув?

– Вернули.

– Где ж это добро сейчас?

– У нас здесь.

– У нас?!

– Актовый зал под него освободили.

– Ух ты. Значит, никаких политинформаций, – обрадовался Зайцев.

В дверь просунулась голова с бакенбардами. Самойлов заметил Нефедова и, видимо, тотчас проглотил то, что намеревался сказать.

– Вася, ты в столовку? – спросил вместо этого.

Зайцев понял:

– Почти... Ладно, Нефедов. Работай с мебелью. Открытия мне сперва покажи.

Нефедов молча вышел. Ведомственная печать, похоже, не жгла Самойлову уста, как Крачкину:

– Разворачивай сани. Из торгсина ориентировочка по делу артистки поступила.

– Из которого? – тотчас схватил кепку Зайцев. Вынул из ящика стола отпечатанный список пропавших драгоценностей, сунул за отворот пиджака.

– На Желябова.

Зайцев кивнул на бегу – центральный торгсин.

– Самойлов, век не забуду.

– Ты тут ни при чем, – строго напомнил тот. И добавил: – Бабу жалко.

Бывший торговый дом Гвардейского экономического общества на Конюшенной улице, ныне имени революционера Желябова, не растерял выправки ни снаружи, ни внутри. Четыре этажа галерей уходили высоко вверх – под стеклянную крышу. В атриуме висел постоянный гул. Людное место.

Раньше он заманивал императорскую гвардию скидками и разорял окрестные лавочки. Теперь превратился в самый большой в городе насос по выкачиванию из населения золотишка, камешков и просто добротных вещей.

Зайцев поднялся на третий этаж – в отдел бриллиантов.

Шум снизу сюда едва доплескивался. Вошел в дверь – и тишина оглушила: всяк сюда попавший, видимо, немел от близости к сокровищам. Бесшумно возник господин в черном костюме и опрятных усах масти «соль с перцем». Немолодой, опытный, ловкий – можно подумать, доставшийся торгсину вместе со стенами в наследство от бывшего Торгового дома. Усач кивнул Зайцеву тихо, но как доброму знакомому. Появлению сотрудников угрозыска в торгсине не удивлялись. Учтиво и молниеносно выпроводил немногочисленных посетителей. Запер изнутри дверь. Отпер решетку в ту часть зала, где сидели приемщики, и только тогда разомкнул губы:

– Пожалуйте, товарищ Зайцев.

Зайцев пожал протянутую руку. Вспомнил, как звали управляющего бриллиантовым отделом: Вайнштейн. Товарищ Вайнштейн повел его к своему столу. Невольно повинувшись духу места, Зайцев ступал с носка.

Над каждым столом склонялась лысина – и глаз, вооруженный оптической трубкой. Пальцы тихо мусолили в щепоти прозрачные твердые капли. Одинаково согнутые спины в одинаково черных костюмах. На миг Зайцеву показалось, что за всеми столами – один и тот же человек, и каждый экземпляр отпочковался от Вайнштейна. Ни одна спина не разогнулась при его появлении.

Кабинет товарища Вайнштейна, выгороженный здесь же, напоминал отчасти сейф (три стены), отчасти клетку (четвертая стена). Хозяин задраил хорошо смазанную решетку. Опустил на решетке штору. Округло-учтивым жестом показал на стул. Зайцев помотал головой. И – вопросительно кивнул подбородком. Повинувшись все тому же духу, оба охотнее прибегали к пантомиме, чем к словам.

Вайнштейн привычным жестом расстелил на столе кусок бархата. Сердце у Зайцева часто забило – неужели след? Вайнштейн выдвинул из стола ящик. На черный бархат высыпались разноцветные искры. Матово засветились круглые камешки, названия которых Зайцев не знал.

Сердце еще колотилось, а под языком уже появился вкус разочарования.

– Это опалы, – перехватил его взгляд товарищ Вайнштейн. – Лет двадцать-тридцать назад было модно объединять их в одной вещи с

бриллиантами.

Такого ожерелья в списке пропавших драгоценностей Варвары Метель не было.

– Ремиз, – с сожалением произнес Зайцев, не заметив, что пользуется словечком Крачкина.

Бриллианты давно их подружили: Вайнштейна и угрозыск. Ну, не подружили, конечно: сблизили – научили работать сообща. Вайнштейн Зайцеву нравился: опытный, разумный, с чутьем на «что-то не так», на камушки, за которыми тянулся тщательно замытый кровавый след. На неприятности, которые еще только брезжат на горизонте или давно за ним пропали.

Вайнштейн быстро согласился:

– Не ваше, знаю. Вдобавок липа.

«И все равно позвонил». Зайцев смотрел в голубые выпуклые глаза ювелира.

– Но... Знаете, больно вещь броская. Штучная.

– Так липа или штучная?

– Липа высшего класса. Только знаток разберется. Работа со вкусом выполнена, хорошей рукой. Признаться, меня и не коробит, что камешки стеклянные: красивая вещь. Произведение искусства... Сейчас такие редко владельцев покидают.

– А когда не редко покидали?

– В восемнадцатом особенно. Года до 22—23-го еще всплывали. А потом плато. Вот я и решил: позвоню вам на всякий случай. Список-то ваш длинный, видимо, дело немаленькое... На всякий случай, – повторил он. Зайцев взял с колена кепку.

– Жаль. Не наша вещь.

– Погодите!

За все годы, что Зайцев был знаком с Вайнштейном, он впервые услышал из его уст нечто, напоминающее восклицание.

– Я думаю, это ваша вещь.

Зайцев не успел возразить. Только поднять руку к карману, в котором был список пропавших драгоценностей. Ювелир остановил его жестом.

– Знаю, у меня нет никаких точных сведений, чтобы подкрепить свое мнение... вы можете счесть это выдумками, фантазиями... Я

внимательно изучил оставленный вашим коллегой список. Внимательно.

– А раз внимательно, то...

– Да, такой вещи там нет. Но я подумал... Видите ли, ваш список – как я себе представил эти вещи – обрисовывает определенный вкус, а значит, особу...

«Психология, – недовольно подумал Зайцев. – Никаких чертовых фактов в этом деле. Одна психология».

– ...которая их выбрала. Эта вещь соответствует вкусам этой особы.

– Ну, это, дорогой товарищ Вайнштейн, совсем уж вилами по воде писано.

Но мысли тут же побежали по предложенному пути. «Только что ж за идиот такой в торгсин с мокрыми цацками поперся». Среди граждан преступничков умников не много, а водка родимая отшибает в головах и то немногое, что там есть, – но все же.

Вайнштейн развел руками:

– Знаю... На всякий случай.

Зайцев вздохнул. Если бы не этот звонок, он бы уже скатался на кинофабрику. Может быть, трехал обратно в угро с какой-нибудь добычей в зубах. Постарался не показать досаду. Чтобы в другой раз Вайнштейн, сомневаясь, звонить или нет, все-таки позвонил. Лучше сбегать понапрасну, чем проморгать важное.

– Ладно. Есть у этого вашего всякого случая фамилия?

«Наверняка ненастоящая... Ксива фальшивая. Раз приперся так нагло в торгсин», – тут же подумал. Уже почувствовал, как сердце разгоняет кровь, добавляя адреналина с каждым толчком. «Черт... А что, если прав Вайнштейн и это след».

– Конечно. Только зачем в испорченный телефон играть. Вы с ним сами поговорите... Вон, в задней комнате сидит.

А в голосе – ни иронии, ни удивления, только профессиональное спокойствие.

– Что?! – чуть не крикнул Зайцев.

– Я ему сказал: очередь здесь, не лезьте, товарищ, ждите. Оценщик к вам сам выйдет и проводит в кассу... Он и сидит. Ждет.

Глава 10



Вайнштейн мягкой уверенной рукой свернул замку голову и распахнул перед Зайцевым дверь. Окно в заваренной раме показывало глухую стену, поэтому желтенькая лампочка под потолком была не лишней.

Пленник несколько ополз на стуле – задремал. Судя по всему, он даже не понял, что был взаперти. Зайцев вмиг взял взглядом всё сразу: пиджачишко, порты, сапоги, кепарь, плоско лежавший у ляжки хозяина, красную рожу. Хлопнул в ладони.

Спавший встрепенулся. Глаза прыгнули с Вайнштейна на Зайцева. На Вайнштейна – на Зайцева. И гражданин сделал всем телом движение – головой вперед, как будто собирался дать деру. То есть, конечно, дал деру. Как будто – только потому что Зайцев тотчас перехватил его повыше локтя, и инерция собственного броска отправила гражданина по дуге обратно на стул. «Я выгляжу как

типичный фараон», – не без досады подумал Зайцев. Как оценщик торгсина он не выглядел во всяком случае.

– Здесь петь начнешь – или до угрозыска прокатимся? – пригласил он.

– У, сука, – без особой злобы метнул гражданин через спину Зайцева – Вайнштейну.

– Культурно выражайтесь. Не в пивной, – холодно заметил ювелир.

Задержанный вскочил, выплюнув трехбуквенное слово, означавшее национальную принадлежность обидчика. Зайцев без предисловий коротко ткнул его кулаком в живот. Отчего тот проглотил намечавшееся прилагательное – и закашлялся, опять упав на стул.

– Ты дерешься чего? – наконец сумел выговорить. – Ишь, сердитый какой.

Контакт был установлен. Зайцев тихо кивнул Вайнштейну, мельком поднес к уху кулак. Тот прикрыл веки в ответ: «Понял. Позвоню вашим», – и исчез. Двери здесь смазывали жирно: она замкнулась, не скрипнув, не щелкнув.

– Не тыкай мне тут. А то еще гулю нарисую.

– Машут кулаками. Чуть что, – проворчал тот. – Между прочим, корона – моя! Ты бы спросил культурно, а то кулаки сразу распускать. В пивной, что ли?

– Ну ты, остряк.

Зайцев сообразил: «корона» – это ожерелье. Со своей твердой оправой-ошейником оно и впрямь смахивало на маленькую средневековую тиару.

– Я человек честный. В своем праве.

– Тебя как звать честного?

– Белушков. Афанасий.

– Так вот, гражданин Белушков, зачин мне твой понравился. Пой дальше. Подробно. Про корону и остальное. А я уж решу, какое у тебя право. Пока – нулевое.

Зайцев стукнул стул так, что гражданину пришлось поджать ступни, спасая их от передних ножек. Уселся.

– Пой, пока я слушаю. А то в парилке песни твои никому не понадобятся.

Выдержал паузу, чтобы тот осмыслил обрисованную перспективу, и спросил:

– На царя ты не больно похож. Откуда корона?

– Я ее законным путем получил.

– Ну.

– Законным, да! Это Кирюха у меня заначку без спроса выжрал. Я к нему сунулся, значит: прояснить это дело. А он в сиську убратый, сволочь, как мертвяк лежит.

– Хорошая заначка была, – согласился Зайцев.

– Три поллитры, – уточнил собеседник.

– Правда, сволочь... Ну а ты что?

– Ну я пошоркал вокруг. Ах ты, клятый, мол. Чем за поллитры взять? Глядь под ветошкой – струмент его. А под струментом у него вон что.

– Спёр то есть.

– Не спёр! Я честно: в скупку снес, за поллитры удержал бы, а остальное вернул. Чужого не надо.

– Ох свистишь, – покачал головой Зайцев. – Обчистил товарища своего. А теперь в белых одеждах себя подаешь.

С последним утверждением гражданин спорить не стал. Но первое его возмутило:

– Гусь свинье не товарищ. В артели одной ковыряем одно-другое.

– Это ж где короны такие наковырять можно?

– Откудова мне знать? С Кирюхи спрашивать надо.

– В этом не сомневайся. – Зайцев вынул блокнот, карандаш. – Спросим. Давай: фамилию Кирюхину, адресок, где он там всмятку лежит, артель как называется. И так далее. Есть у Кирюхи фамилия?

– Гудков.

Зайцев записал остальное. Он не увидел движение – скорее почувствовал тончайшее изменение воздуха за спиной. Обернулся. В двери опять стоял Вайнштейн. Прикрыл веки: «сделано». Зайцев кивнул, встал.

– А я?

– А ты, гражданин Белушков, отдыхай. В карете поедешь. Как митрополит.

– Да что я... – заревел Белушков, но больше Зайцев не услышал. Дверь отсекала звук, мягко впечатавшись в резиновую присоску,

уложенную по косяку.

– Мне бы позвонить.

– Пожалуйста.

Вайнштейн указал на черную лакированную лягушку на своем столе, и предупредительно вышел из своего кабинета-сейфа. Зайцев снял трубку. Стол был идеально чист. Ни бумажки, ни ручки, никакого этого конторского вздора. Зайцев сел на край. Память быстро подсказала ему нужный номер.

Зайцев послушал хруст трубки на другом конце – мысленно дорисовал деревянную полочку, на которую трубку положили, огромный холл-коридор. Мысленно прошел его вместе с лунатической Легри, уповая, чтобы из ее пропитанного вероналом мозга не выпало по дороге только что данное поручение.

Наталья Синицына была дома. «Да уж, не для кого больше по очередям да по частникам носиться».

– У аппарата, – сообщил ее голос.

– Привет, Наталья. Зайцев из милиции.

– Здравствуйте, товарищ Зайцев.

– Скажи-ка, Наталья, а было у... – он чуть не сказал «госпожи твоей», но успел без запинки перескочить на нужные рельсы: – ... актрисы нашей украшеньнице на шею...

И описал ожерелье с опалами и бриллиантами, как сумел.

Тяжелое участившееся дыхание было ему ответом.

– Наталья?

«Черт. Надо было рвануть на квартиру самому». Разверзлись рыдания.

– Ты, Наталья, брось это. По делу звоню. Прекрати мокроту разводить. Нет у меня времени... Чего скажешь? Было или нет?

– Было.

Зайцев не сдержался:

– Ты почему ж сразу не сказала?!

Та между всхлипами укорила:

– Так вы ж про драгоценное спрашивали. А оно не драгоценное. Не настоящее оно.

– Ты, конечно, права, – попробовал утешить ее Зайцев. – Это я тебя запутал.

– Запутали, а теперь кричите.

«Не такая уж ты раба беззащитная», – подумал Зайцев. Он вдруг вспомнил, как она сказала про хозяйку: «жрать не станет». Не «кушать». «Жрать». Видно, не все там было просто. Вспомнил – и поставил себе мысленную закладку.

Но сейчас его больше интересовали дружки-слесари.

Вайнштейн вооруженным трубкой глазом склонился к одному из своих сотрудников-двойников. Тот показывал Зайцеву темя, мягко передвигал костяшки счет. На куске бархата лежали прозрачные капли. Стояли в воздухе, на невидимых нитях, чашечки, больше похожие на эмблему весов, чем на измерительный прибор.

Оптическая трубка мягко выпала в подставленную ладонь. Глаза опытного ювелира вскинулись с вопросом: попал? И Зайцев не отказал себе в удовольствии ответить:

– Переходите к нам, товарищ Вайнштейн, а? Скучно же здесь. А я и паек вам выбью наилучший, с маслом.

Уголок губ чуть двинулся: улыбка. Глаз снова сжал трубку, голова снова склонилась к бриллиантам.

Гражданина Гудкова приняли ровно там, где указал собутыльник Белушков: в деревянной двухэтажной халупе на Обводном. И ровно в обещанном состоянии. Драгоценности тоже их дождались. Под ящиком с инструментами, в дерюжном мешке, спутанной колючей кучей, – они казались слишком блестящими и не более ценными, чем елочная мишура. Гудков не пошевелился, когда его взяли за ноги и за плечи. А когда кинули на пол авто, только замычал и повел руками, как будто в паутине.

– Допрос откладывается до лучших времен, – жизнерадостно оповестил Зайцев, падая на сиденье. Мешок с сокровищами звякнул. Сколько стоило содержимое этого мешка, мог на глаз определить разве что товарищ Вайнштейн.

Нефедов глядел на дышавшее у его ног тело.

– Смотри, Зайцев, не вздумай прикурить, – заметил водитель, поглядывая на все это через зеркало. – Полыхнет и рванет к едреной фене. Хорошо отдохнул человек. Ну и выхлоп, – покачал головой водитель. Ответа не получил.

– Укокошил кого по пьяни? – продолжал балаболить водитель, выкручивая руль. Мелькали из-под закатанных рукавов локти да

шлепали по рулю, цепляясь, пальцы.

– Крути-крути, – проворчал Зайцев.

– Ясно. Военная тайна, – не обиделся шоферюга. И машина запрыгала, переваливаясь, по разбитой набережной Обводного. Нефедов придержал ногой голову Гудкова – ее мотало по полу в опасной близости от железной рейки, подпиравшей сиденье.

Зайцев ребром ладони вытолкнул наружу треугольную форточку: дух от Гудкова и правда стоял густой.

– Вы ему возьмите пива, – предложил говорливый шофер, поглядывая на Зайцева в зеркало.

Нефедов чуть-чуть поднял брови: предложение его возмутило. Зайцев кивнул:

– Ага. Сперва только икры черной ему черту купим. И балыка. А на сдачу можно и пива.

– Дело говорю, – не отстал водитель. – По виду загулял он хорошо. Болеть будет сильно.

Над крышами домов торчали четыре круглые трубы. «Слон упал. Спиной вниз», – пришло на ум Зайцеву при виде этих труб. «...Он прав». Ждать, пока Гудкова переломает, было невозможно – допрос ждать не мог.

– Останови! – крикнул Зайцев спине, когда завидел в промелькнувшем проеме улицы сжатую жаждой очередь, киоск с надписью «Пиво».

Гудков пил, а Зайцев и Нефедов смотрели на его дергающийся при каждом глотке кадык. Бутылка показала донце, потом встала вертикально горлом вниз – как будто до того только пиво удерживало ее в нормальном положении. И только потом Гудков от нее отпал. На Зайцева и Нефедова обратилась ошеломленная рожа.

– Аж зашипело. Трубы горят, – пожаловался Гудков. Он был мягкий, податливый. И добавил: – Товарищ милиционер.

– Ты почему здесь, знаешь? – не стал поддерживать тему здоровья Зайцев.

– Манька сдала, – печально ответил Гудков. – Стерва. Получку отобрала. Из-за нее до жизни такой дошел.

Он разглядывал свои чернильные пальцы. Перед допросом сыграл на пианино.

– До какой такой жизни?

Гудков призадумался. Положил руки на колени. Видимо, мысли ворочались тяжело. Но к выводу он пришел:

– Это Афанашка меня сдал? Афанашка стерва?

Податливость улетучилась. Видимо, молекулы пива уже проторили дорогу в мозг, кровь и прочие части гудковского организма. Придали сил. Голос окреп:

– Да я поллитры эти ему отдам! Отдам! Пусть харю себе ими зальет. Сволочь. Сам не жрет, в мотню все сует, копит. Только людей растравляет.

«Да, этот мог, – подумал Зайцев. – ...Грустно». Почти все ленинградские убийства имели общее слагаемое: алкоголь.

– Ты глотку не дери. На Маньку мне твою плевать. И на философию твою тоже. Говори, каменья у тебя откуда.

– Какие каменья?

Зайцев молча положил на стол твердое ожерелье.

– Не видал такого.

Зайцев так хлопнул обеими ладонями по столу, что подпрыгнули оба – и Нефедов, и Гудков. Последний тут же забормотал, зажурчал, точно из него вынули пробку:

– А, ну это... Не признал сразу. Худо мне. Потому и не признал сперва. В наследство мне пришло. От бабки.

Зайцев кивнул. Гудков повеселел.

– Бабку-то не Варварой звали? – недобро поинтересовался Зайцев, упирая на каждое слово. – Не Берг ее фамилия случайно? Или, может, Метель?

– Не знаю такой... – залепетал Гудков.

– Не знаешь?

– Никак нет.

Зайцев покладисто кивнул.

– Пока ты тут отдыхать прилег, мы в артели твоей справились. Вызов у тебя был. На Красных Зорь. Ну как? Просветляется в башке?

– Это лифт который в парадной чинить?

– Который лифт, да.

– Лифт был.

Гудков наклонил низкий лоб. Зайцев его не торопил. Пусть своим умом дойдет. Ума у Гудкова водилось не много – хоть он и молотил во

всю мощь, за то время, что он соображал, можно было бы выкурить тоненькую папироску.

Гудкова увели.

– И маршрут трамвайный совпадает, – подал голос Нефедов. – Тройка. Артель их на Международном проспекте. Как раз тройка оттуда до Красных Зорь ходит. Билет трамвайный в лифте выбросил. Врет, думаете?

– Черт его знает, Нефедов.

– То есть не врет?

– Больно ловко врет тогда.

– Ловко? Это ж полная ахиня! Что это за черный лифт еще такой? Но Зайцев был задумчив.

– Который не парадный. Типа черной лестницы. Для угля, дров, провизии, мусора, ну и что там в буржуазном хозяйстве еще вверх-вниз отправить надо. Простому рабочему человеку такое ни к чему, позаколачивали черные лифты давно к едреной фене. ...Понимаешь, в то, что он в черный лифт от лени своей полез, этому я верю. Смотри сам...

Представить себя элегантной дамой Зайцев, может, и отказывался. Но ощущения и мысли Гудкова вообразил легко.

– Вызвали его на Красных Зорь чинить лифт в парадной. Лифт на верхотуре встал. Ножками Гудкову туда трехать не улыбалось. Потолки в доме высокие. Лестницы длинные. А здоровье у него не то. Человек пьющий, не физкультурник. Вдобавок утро. Духовной жаждою томим. Дернул: черный лифт не заколочен. С конструкцией он знаком поди. Раз слесарит и с лифтами работает. Смотрит: лифт на ходу. Решил себе жизнь облегчить. Катит себе припеваючи. Вдруг в шахте щель – свет. Дверь в какую-то квартиру, значит, не заложена. Решил посмотреть: вдруг забыли добрые люди пузырь на кухне. Ну или стибрить, что плохо лежит. Хоть котлеты со сковородки. Вылез. На кухне чисто. Ты вспомни, кухня там в порядке содержится. Будто и не коммуналка. Пошел по коридору. Увидел приоткрытую дверь.

– Нет, товарищ Зайцев.

– Что именно?

– Стал бы я на его месте по чужой квартире шастать.

– Ты – нет. Поэтому ты здесь сидишь. По эту сторону. А не по ту. – Зайцев покачал головой. – Логика крепко пьющего человека непостижима трезвому. Но она есть. Виноватый бы придумал историю получше. Именно поэтому я склонен верить.

– Не такой уж он невинный, Гудков этот. Признаться, что цацки спер, и сесть за это – умнее, чем по расстрельной статье пойти. За то, что Варю уколошил.

– ...и время не сходится. Убили Варю ночью, эксперт говорит. А Гудков в утренних потемках нарисовался.

– Он так говорит.

– Похоже на правду. Ночью он на Красных Зорь не попал бы – мосты разведены.

Нефедов кивнул.

Просунулся эксперт – махнул папкой:

– Зайцев. Пальчики готовы. Полное совпадение с отпечатками на рояле. Поздравляю. Взяли гада.

Папка легла на стол. Дверь закрылась.

– Не мог он знать, что цацки там. В рояле. Нефедов. Просто не мог.

Гудкова они нашли на привинченной к стене откидной койке. Лицом вниз. Запах в камере стоял густой. Алкогольные пары не спешили покидать измученное тело Гудкова. Зайцев провел ключом по решетке. Помятая рожа поднялась – глаза еще не проснулись, моргали.

– Вставай, музыкант, – неласково приветствовал его Зайцев.

Гудков спустил босые ноги. Лохматая голова свешивалась на грудь. В ней, очевидно, бил колокол набатный.

Зайцев и Нефедов вошли. Гудков шевелил нечистыми пальцами на ступнях.

– Да уж, амбрэ, – поморщился Зайцев. – Рассказывай, болезный, ты чего в рояль полез. Лунную сонату сыграть?

Зайцев покачал головой.

Гудков поднял мутные глаза.

– Кому?

– Женщине убитой.

– Не было там никого, говорю же тебе! Вот те крест: ни было.

Зайцев не поддался бессмысленному спору:

– А рояль – был?

– Был.

– Так какого хрена?

– За пузырем, – недолго раздумывал Гудков. «Как бы это ни выглядело, он невиновен», – подумал Зайцев: ответ был быстрым и слишком абсурдным.

– Откуда там пузырь?

– Не было пузыря, – вздохнул Гудков. – А у лабуха был.

В голосе чувствовалась обида на сюрпризы жизни. Зайцев и Нефедов переглянулись.

– У какого лабуха?

– На Литейной. Володарского то ись. Которому замок в комнате врезал. Лабуху то ись, а не Володарскому. В четверг это было. Ну да. В четверг. Он, сука, отожрал через горло и пузырь обратно в пианину сунул. Думал, я слепой.

– Ладно.

Больше Зайцев не нашел, что сказать. Гудков глянул на одного, на другого. Понял, что вопросов больше не будет, повалился на ложе. Когда дежурный запирает дверь камеры, оттуда уже рокотал густой храп.

* * *

Почему-то хотелось есть. «Странно, обедал же недавно». От волнения, должно быть.

Темнота была настолько глубокой, бездонной, что на миг Зайцеву почудилось, что нет у нее стен. Темнота и тишина.

– Нефедов, ты бы сопел хоть, что ли. Не по себе от тишины, честное слово.

Рука крутила рычаг. В такой темноте даже не понять – движешься ты или нет.

– Как это вы сообразили. – Нефедов заговорил, и оба с непривычки испугались: голоса, эха. Нефедов закончил шепотом: – ... как эта штука двигается.

– Попадались, – так же шепотом ответил Зайцев. – Когда беспризорничал. Не везде еще заколочены были.

Вспомнил: адский скрип наконец стих, дверца распахнулась – белое, совершенно белое от страха Пашино лицо, белое лицо англичанки, губы прыгают. Это был первый и единственный случай, когда Паша их обоих выдрала за уши. Англичанка пыталась разнять, но Паша не понимала, что та ей кричит. Не педагогично. Вот что она кричала.

Нефедов шумно сглотнул.

– Жрать хочется.

Зайцев втянул воздух. Но тут же забыл: что-то отвлекало. Что-то было «не то». «О чем я только что думал?» Теперь слышны были шорохи, приглушенное позвякивание, отдаленное пение патефона где-то в недрах дома.

Лифт мягко, как в бархат, ткнулся. Зайцев попробовал крутить ручку: «застряли», была первая мысль. И вторая: «найдут два скелета».

Ощупал руками. Потолок.

– Понятно, почему Гудков здесь вышел.

– Свет увидел?

– Конечная остановка.

Зайцев протянул руку мимо колен Нефедова, нащупал – щеколда. Не задвинутая. Повернул ручку. Толкнул.

Дверца распахнулась. Кухня. Как и положено.

Видел Зайцев и раньше удивление на человеческом лице. Но не такое. Брови Синицыной, казалось, прыгнули бы и выше, да лицо кончилось. Глаза бы и выпали из орбит – да мешали какие-нибудь жилы, которыми очи были приделаны к черепу.

Из рук медленно посыпались мокрые полотенца. Зайцев узнал эту нишу – уже виденную с той, другой стороны: на стенах полочки, стояли по росту утюги.

Нефедов мигал, успев отвыкнуть от света.

– Здравствуй, Наташа, – поприветствовал Зайцев из своего согбенного положения. Заглянул позади женщины: никого. Вот и славно.

– Всё у вас спокойно? Хорошо. Ну до свидания, Наташа.

И снова взялся за ручку колеса.

Причалил лифт так же мягко.

Зайцев открыл дверь. Вышли, с удовольствием разгибаясь, расправляя тело. Зайцев закрыл дверь. Открыл дверь. Закрыл дверь.

Открыл.

– Вы что?

– Адский скрип, – радостно поприветствовал Зайцев нужное, наконец всплывшее, как пузырек воздуха, воспоминание.

– Не слышу, – удивился Нефедов.

– И я не слышу... То-то и оно.

Наклонившись, снова пролез в грузовой лифт. Мазнул пальцем по тросу, другим по реле. Третьим по приводному механизму. Вылез. Наклонился к щеколде. Она жирно блестела.

– Ну-ка, Нефедов.

Поднес пальцы к носу напарника. Потом понюхал сам.

– Сливочное масло? – заглянул в лифт Нефедов.

– А на реле, судя по всему, жир. Предположу, гусиный. Вот и запах объяснение. Вот почему Гудков никого в квартире не перебудил.

* * *

– Лифт? В нем рукопись нашли? – быстро спросил Коптельцев, оторвал от кресла зад.

– Нет.

Коптельцев не дал и слова вставить.

– Так какого... Думаешь, похвалю тебя?

– Актриса эта, между прочим...

– Да на хрен актрису эту! Туда ей и дорога!.. Тебе что приказано было?

И начальник угрозыска поделился с Зайцевым богатым словарным запасом, собранным в рабочем общении с уголовными элементами. Зайцев, впрочем, не слушал. Он смотрел. Руки Коптельцева слепо прыгали по столу. Взяли перо. Положили перо. Взяли карандаш, уронили карандаш. Распластались. Собрались в кулаки. Опять поймали, начали тереть карандаш.

– ...на хрен Гудкова какого-то. Мебель проработали? Сыр-бор из-за нее такой устроили! Так прорабатывайте! А до того в сортир сходить – мне сперва позвонить и разрешения спросить. Понял?

– Понял, Нефедов?

– М-да уж... Что это вы делаете?

Зайцев стоял у кровати. Сомкнутые руки над головой.

За мебельными утесами раздался голос дежурного:

– Есть тут кто живой?

– Нет никого, – отозвался Зайцев.

Обрушил сомкнутые руки вниз. Расцепил.

– И женщина тоже могла это сделать, Нефедов. Всего делов – подойти тихо к спящей. И силы тут адовой не надо. Удар был сверху. Нож тяжелый. Всего лишь разогнать его как следует – и...

За мебелью нетерпеливое:

– Посетитель внизу.

Зайцев выглянул:

– Ты что, еще не ушел?

Дежурный добавил веско:

– По личному посетитель.

– Нет у меня личных дел, – бросил Зайцев. – Заявление предложи написать. Не могу я городских сумасшедших лично обслуживать. Брошен лично товарищем Коптельцевым на задание повышенной важности.

Дежурный закрыл дверь. Нефедов снова заговорил:

– Раз силы адовой не надо, то и похмельный страдалец, выходит, тоже мог.

– Не веришь ты Гудкову?

– Алкаш, хорошо. Логика алкашная, хорошо. Я даже про рояль и пузырь готов поверить. Но как так он мог – как он говорит – не увидеть убитую?

Зайцев щелкал торчавшее у самого лица кресло по легкомысленной шелковой кисточке.

– Черт знает. Допустим, не врет он. И ничего не путает с пьяных глаз, что уже очень сильное допущение. Но допустим... Тогда, получается, не было Вари в комнате – ни живой, ни убитой.

– А заключение по телу?

– Оно на температуру трупа опирается. Печени, если точнее. Есть много причин, по которым труп может быть холоднее или теплее, чем следовало бы.

– Например?

– Стоп, Нефедов. Не нужно придумывать объяснение. Налицо нестыковка. И заполнять ее домыслами, умственно увязывать – большая ошибка. Нестыковка говорит о нехватке фактов. Так что попытаемся раздобыть факты. Думать – потом.

Он мысленно увидел то, что увидел там впервые. Комнату убитой. Кавардак. Труп.

– А сами думаете, – поддел его Нефедов.

– ...не видел он. Потому что накрыто тело было шалью.

– Его ж Синицына накрыла.

– Откуда мы знаем? Она отрицает. А мы подумали: врет. И Крачкин тут с яйцом своим опять же... Нет-нет. Не врет она. Не накрывала она труп шалью. Не она.

– А кто?

– Вот здесь мы и ставим большой восклицательный знак.

Зайцев нарисовал в воздухе загогулину, проткнул под ней воздух указательным пальцем.

– Это вопросительный знак, – уточнил Нефедов.

– Его тоже, – отмахнулся Зайцев.

– Как с пузырем-то быть? С музыкантом то есть.

– Ты, Нефедов, сиди здесь. Двигай мебелишки. Переноси из правого угла в левый, из левого в правый. А я сгоняю на Литейный, Володарского то ись, – повторил он за Гудковым. – Адрес музыканта, которому Гудков замок врезал, есть. Легко проверить, врет ли Гудков про остальное.

– А...

– Ответ один: товарищ Зайцев только что здесь был, минуту назад вышел, вот-вот вернется.

В вестибюле проскользнуть мимо дежурного не удалось. Тот сделал Зайцеву «глаза»: на человека (рубашка, брюки, теннисные туфли, ветчинный загар – таких в Ленинграде тысячи), смиренно сидевшего на скамейке. В руке тот держал папочку.

«Глаза» означали, по всей видимости, что заявление гражданин написал – не отшил. При виде Зайцева он тотчас поднялся. Обнял папку.

– Товарищ, я вас не знаю. Личных дел у меня с вами быть точно не может, – спокойно обозначил расстановку сил Зайцев. Глаза у товарища были вполне обычные, без безумия даже на доньшке.

Зайцев ощутил мерзкий укол беспокойства.

Выскользнул за дверь – чтобы дежурный не услышал лишнего.

Гражданин за ним. Их сразу обступили стук и шуршание уличного движения. Шум этот, как лезвиями, коротко надрезали то тут, то там крики чаек, висевших над Фонтанкой.

– У меня личное, – поправил он. – У вас – служебное. Вот.

Он протянул папку.

– Большое же у вас заявление, – попробовал пошутить Зайцев. Принимать папку не спешил. Тот не улыбнулся, бровью не повел.

– Не заявление. Это Ее воспоминания.

Он отчетливо сказал «Ее» с большой буквы.

– Она...

И опять голосом выделил заглавную букву: Она.

– ...отдала мне их на сохранение и сказала: когда меня за них убьют, отнеси их в милицию. И вот я принес.

– Вас зовут Владимир, – пробормотал Зайцев, ощущая ладонями кожаные углы.

Не стоило и пытаться побороть изумление, Зайцев просто отдался этому чувству.

Глава 11



ПЕРСТЕНЬ-ПЕЧАТКА

Никогда не думала, что ноги могут замерзать настолько: я чувствовала, что ступаю двумя култышками – у них не было ни пяток, ни пальцев, только тупая тесная боль в ботинках.

Мы и в этот раз не смогли сесть на поезд. Мы даже по перрону пробраться не смогли. Ощущение, будто идешь в море по горло, только вместо воды – деревянные чурки, которые пахнут не деревом, а старыми шинелями, потом, перегаром, табаком, семечками. Иногда в этом море мне попадалось ошеломленное человеческое лицо; попадалось и тонуло.

О Крыме нечего было и думать. Легкомысленная куколка Легри оказалась не такой уж дурой: она пошла в банк, увидела на двери объявление «Граждане, протестуйте против захвата банков большевиками». Села на извозчика и поехала не домой, а на вокзал. Знаю об этом потому, что она позвонила с вокзала. Это был тот парадоксальный день, когда банки уже не работали, а поезда – еще ходили. Теперь она наслаждается крымским теплом, крымскими винами и крымским обществом.

Я еле стащила с озябших ног носки. Хорошо, я вообще сообразила надеть носки.

– Попробуем через Финляндию, – предложил Павел Сергеевич.

– Попробуем.

И мы попробовали.

Багаж уже был уложен в «Изотту». Я учла ошибку касательно моего туалета для вояжей.

– Нет, – сказал Павел Сергеевич. – Вы шутите. Что это? Костюм барышни-крестьянки?

– Я не шучу, – заверила я.

– Моя дорогая, запомните простую жизненную истину: никто не кричит на хорошо одетого человека. А тем более не остановит его. Ступайте, причешитесь, переоденьтесь, не забудьте духи.

У меня не было сил, а голова раскалывалась и без духов.

– Еще не хватало, чтобы эти люди вас приняли за свою. Это, наконец, опасно. С близкими не церемонятся. Как бы сейчас ни кричали об отмене общественных классов, в головах их никто не отменял. Барьер есть, и даже эти люди его чувствуют, если им напомнить. Даже сейчас. Простая жизненная истина.

Он бы настоял, но снизу прогудела «Изотта». Запорожец – у него такая фамилия была: Запорожец, Иван Запорожец, фальшивая или нет – не знаю, «человек надежный», как сказал Павел Сергеевич, это он настоял отослать Мишеля и довериться Запорожцу.

Мишель, кстати, был очень трогателен, прощаясь с «Изоттой». Долго стоял, обняв капот. Точно казак с верным конем. Мне – лишь сдержанно поцеловал на прощание руку. Я позволила Мишелю на память себе открутить с авто решетку с крылатой фигуркой то ли Фортуны, то ли Победы. Может, не следовало это делать? Ибо в тот день Фортуна точно нас покинула.

Опять осторожный гудок. Запорожец нас торопил. И Павлу Сергеевичу пришлось махнуть рукой.

Сам он был в бобровой шапке и пальто с воротником.

Мы спустились. Лифт давно не работал. Вообще, от тех дней было ощущение, что кровяные шарики большого города – лифты в том числе – остановились. Только мы не поняли еще, что это и была смерть: Петроград умер. Мы думали, придет слесарь, со дня на день, и включит лифт.

А до той поры лучше посидеть в Крыму. Или в Финляндии.

Мотор был разогрет. Запорожец со своим украинским выговором пожелал доброго утра. «Изотта» выбросила из-под колес талый снег. Мы катили по темному проспекту. Ни огонька. Ни в одном окне. Жильцы притихли, затаились, опасаясь навлечь на окна выстрелы.

У Невки нас остановил патруль. Запорожец махнул какой-то бумажкой, черные фигуры расступились, «Изотта» начала по снежной каше одолевать мост. Ни один фонарь не горел. Машина будто висела в ночном воздухе. Только бы добраться до Озерков. А там Саволайнен с его лошадкой – отвезет до Куоккалы. В Куоккале ждал с лодкой Саволайнен-племянник. Залив, понятно, промерз до дна: лодка была оснащена парусом и полозьями или только парусом. Я не успела представить себе эту конструкцию; мы съехали с моста – опять патруль.

– Глуши тарантас.

Опять бумажка. Но на этот раз ее выдернули из рук Запорожца, не поглядев, и клочки ее тотчас порхнули, осыпались. «Буржуй», – донеслось до меня вместе с запахом перегара. Перегар этот был особенным: ни старым, ни свежим, а и старым, и свежим одновременно. Пили давно и продолжали пить. «А эт хто?» Я ощутила кожей каждую жемчужину в подкладке своего салопчика, платья, корсета. Каждый камушек будто полз по мне, как муравей. Каждая золотая лапка впилась под ребра.

Павла Сергеевича не покинуло самообладание.

– Мой лакей и моя горничная.

Он еще верил, что на хорошо одетых людей не кричат. И не ошибся. Застрелили его без криков. Выволокли из авто за воротник. Треснул выстрел. И фигура осела. Все произошло так быстро, что я не

ощутила ни удивления, ни страха, ни горя. Только смотрела, как покатилась бобровая шапка, как матрос ее подцепил.

А Запорожца не застрелили, нет. Его выволокли из шоферского кресла налево. Меня – направо. В первый миг мне показалось, что у меня отскочила голова. «Пшла, курва». Приняв за классово близкую, мне просто дали по морде.

Они бы, может, и передумали, может, и решили бы познакомиться со мной поближе – превратить классовую близость в половую. Но Запорожец схватил меня за руку и потащил к кустам, к деревьям, к темневшим дачам. Брошенные дома стояли привидениями. Похоже на декорацию к фильму «Вий». Здесь снег давно превратился в мокрую грязь, она сразу высосала и утащила с моей ноги боты, туфли, но главное, искать нас стало так же бессмысленно, как черную кошку в темной комнате. Кошку и кота. Особенно если ты очень нетрезв, а мы петляли. Запорожец втащил меня – я почувствовала промокшими ногами ступени. И мы провалились в абсолютную темноту. Они попробовали палить туда, где слышали шаги – или думали, что слышали. Хлюпало и потрескивало, казалось, сразу везде, отовсюду. Мы лежали на полу и слушали, как стучит сердце. От нас отстали. Стихло. Видать, вернулись к костерку, к водке, к «Изотте», стоявшей с распахнутыми дверями, как с расправленными крыльями – и доверху заваленной багажом. Только и слышен был этот шуршащий стук – я не сразу поняла, что стучит у меня в ушах. Во рту был жгучий вкус железа: о сломанный зуб я порезала язык. Лежали мы обнявшись. Два голубка.

– Надо искать Саволайнена, – прошептала я.

У него зуб на зуб не попадал. Он же рассчитывал катить в авто. Да и я в мокрых носках недалеко бы ушла. Не до Озерков точно.

Глаза привыкли к темноте – различали очертания предметов. Шкафы. Чехлы. Дачу еще не разгромили. Мы поднялись. Запорожец не подал мне руку. Я щупала языком острые обломки зубов. Решили поискать что-нибудь из одежды, какую-нибудь обувь. Что не забрали воры, а в том, что воры здесь побывали, сомневаться не приходилось – дверь-то была отперта. Шкафы показали пустые вешалки. Где оставляют ненужную одежду, складывают обувь, которую жаль выбросить? Надо было лезть на чердак. Где взять лестницу? В этот

момент я поняла, что мой спутник исчез. Из кухни доносилось постукивание – выдвигались и задвигались ящики. Я...

Зайцев отделил страницу от страницы, получились две стопки.

– Держи, Нефедов.

– Это что?

– Чтение на сон грядущий. А также последующий день и вообще столько дней и ночей, сколько понадобится.

Нефедов тотчас сел на то, что стояло ближе всего, а это оказалось трюмо. Оно показало трех Нефедовых: профиль, затылок, профиль с другой стороны.

«Хорошо, что он ничему не удивляется. Хотя бы с виду. А то бы я давно уже спятил», – мысленно поблагодарил его Зайцев.

– А вы?

– А я вторую половину читать буду. Потом обменяемся.

И тоже сел. Это был полосатый пуфик. Оглядел склад.

– Господи, сколько ж добра у нее. Как это все в одной комнате помещалось, ума не приложу. Если б сам не видел, не поверил бы.

Нефедов уже опустил нос к страницам. Но тут же поднял лицо:

– Не Владимир? А кто?

– Ты, Нефедов, пока читай. Я тебе сказку Шехерезады потом расскажу.

И тоже погрузился в чтение.

...не сразу увидела Запорожца, или как там его на самом деле звали, когда вошла в кухню. Сразу я увидела мучной ларь. Попросту – деревянную коробку с надписью «мука» – деревенский стиль, чтобы придать модной столичной даче нечто пейзажное. Только в ней была не мука. Собственно, поэтому товарищ Запорожец и пал на колени. В лунном свете морфин казался зеленоватым.

В выдвинутом ящике – нетерпение Запорожца уже выросло настолько, что он бросил их открытыми – и они торчали, как челюсти, – в самом нижнем поблескивали шприцы. Я быстро дорисовала себе мизансцену: сперва он увидел на столе порошочек. Сообразил, что попал к знатокам. Понял, что где-то здесь найдет и инструмент. Я задвинула ящики – снизу доверху. Нижний – ногой. Бам, бам, бам, бам. В тишине дачи они хлопали, как крышка гроба.

Схватила коробку.

– Мы ищем одежду вам. Обувь мне. И идем в Озерки! Слышите!

Шлепнула его по мордасам. Но в чувство не привела. Дикий взор был мне ответом.

– Идите сами.

Только этого мне не хватало.

– Вы сошли с ума! Вставайте.

Запорожец подполз ко мне на коленях:

– Отдайте.

Потянул за подол:

– Отдайте.

– Вы получите. В Озерках.

Взгляд у него стал до того безумный, что я поняла: это не матрос, другой раз мне уже не повезет. Я подняла короб над головой и, задержав дыхание, чтобы не попала ядовитая пыль, опрокинула его содержимое: красивым снежным рукавом.

С воем Запорожец бросился ловить, собирать этот иней.

Вот она, печальная жизненная правда: никогда не стой между наркоманом и шприцем. Даже выбирая между жизнью и смертью, наркоман все равно выберет наркотик.

Я уже нашла то, что нужно: валенки, очевидно, принадлежавшие печнику или кучеру, стояли в самом углу. Даже воры на них не позарились.

Я поставила в них ноги, как в ведра. Воняли омерзительно. Но ступни мои сразу же охватило колючее тепло.

На пороге я оглянулась. Запорожец зубами уже тянул на себе рукав. В руке был заряжен шприц. Рукав не поддавался, и Запорожец всадил себе иглу в ляжку – прямо через штанину. Отвратительный хруст кожи под иглой. Надавил поршень. Вынул. И обмяк. Меня охватил задор. «На память, – подумала я. – О маленьком приключении». Я шагнула к телу – мутные глаза меня видели и не видели. Стащила с красной руки перстенок-печатку.

Когда я пришла на Каменноостровский, в белом свете дня... А впрочем, достаточно того, что я пришла к себе на Каменноостровский.

Глава 12



– А если вранье все это?

– Вранье в таком случае ловкое. На правде обильно замешанное. История с утопшей Лидией, например. Довольно похоже. На моей уже памяти случилось. И утонула больно странно. И тело не нашли. И крематорий был. И трупы там неприбранные сжигали.

– Как же понять, правда или вранье?

– А надо? Факт в том, что сочинение это, правдивое или нет, многим своим героям и героиням сейчас способно поломать карьерку.

Если не жизнь. Артисточка с фальшивыми сиськами, например, это Вера Гиацинтова, ведущая актриса МХТ. Муж нарком.

– Ну, сиськи это же просто смешно.

– Обхохочешься. Товарищу наркому особенно... Хорошее произведение. Если не сиськами пришибет, так князем Ахтынцевым.

– Но ведь всегда же можно сказать: вранье это, товарищи.

– А товарищи на это: дыму без огня не бывает.

Они расчистили диван (на нем развалился Зайцев) и большое кожаное кресло с тиснением (в него погрузился Нефедов) и теперь негромко совещались среди полированных глухонемых свидетелей.

Нефедов поразмыслил:

– И Матвей Петрович этот... Зачем он рукопись вам принес? Почему не выбросил? Какой у него интерес?

– Червовый, скорее всего.

Зайцев вспомнил унылое длинное лицо Матвея Петровича. И роковое – Варино. Бедный Матвей Петрович.

– Его, Нефедов, можем сразу отбросить. Он не врет. Видно, что странички эти в разное время написаны. Здесь вот чернила. Здесь карандаш. Главы не по порядку. Тут вот год двадцать третий – двадцать четвертый описан, по моим прикидкам, а потом – она в восемнадцатый перескакивает. Нестыковки опять же. Кого-то она настоящим именем называет. Кому-то имя выдумывает. И много всего такого. Не перечитывала она письма свои. А ровно, как Матвей Петрович этот мне и поведал, каждую среду в три часа ночи спускала очередную историю по грузовому лифту. В парадную заходить не надо, дворнику на глаза не попадешься, и запомнить легко: номер трамвая тоже третий.

– Охота ему по ночам шастать, – пробормотал Нефедов. Не верит.

– Охота, Нефедов, пуще неволи. Сам видел ее свиту. Соседей то есть. Действует Варя на людей. Действовала... К тому же он музыкант в ресторане, к поздним ночам привык. Отпилил смену – и сразу за тетрадой. Опять-таки: тетрадку подобрал и в футляр свой между нотами сунул сразу – тоже удобно.

– Что ж она не Владимиру, возлюбленному своему таинственному, рукопись свою доверила?

– А вот это, Нефедов, с ее стороны неглупо. Секреты доверять возлюбленным нельзя. Сегодня любовь неземная, а завтра вдруг –

«нашел я, что у Глаши красивше бельецо».

«...Или что паек у ГПУ хороший», – мысленно добавил он.

– Но это-то всё ладно, – переменял тему Зайцев. – Как впечатления, говори. Теперь ты всё прочел.

– Имен много. Разработка большая.

– Ага. А ноги у нас всего четыре.

Нефедову, очевидно, вспомнилась их таблица-гигантша, в которую они запихивали убийства по образу и подобию эрмитажных картин: пухнувшая, расплзающаяся во все стороны. И никуда не ведущая.

Зайцев ее тоже вспомнил. Они кропали, а Алексей Александрович убивал. И ушел безнаказанным.

Он отогнал эту мысль.

– Зато теперь мне понятна записочка от товарища Утесова. И каким образом про мемуары Варины слушок пополз. Ты ж помнишь интересантов наших? Она сама им сообщила письмом. С виду все невинно: пишу, мол, очерк жизни, хочу у вас уточнить некоторые даты, имена, ну или чего там. Думаю, она всех своих героев таким образом оповестила. Что-то типа приглашений на общий вечер воспоминаний разослала. А уж герои поняли правильно: собирается предать свои воспоминания – то есть их секреты – бумаге.

– Но ведь других писем мы не нашли. Только от товарища Утесова.

– Ага, только он из всех шлангом прикинулся. Предположу, что нервишки у него покрепче, чем у прочих. Притворился, что намека не понял – что скрывать ему нечего. Уважаемая и всё такое... Ты посмотри, герои же у нее все зажиточные, видные, Нефедов. Не шобла какая-нибудь. Некоторые даже мне и тебе известны. Любитель мальчиков Чичерин, например. Нарком иностранных дел. Тут Варя со своими сенсациями малость запоздала: нарком уже ушел на пенсию... Хотя, Нефедов, может, он поэтому и ушел, а? Вот и мотив.

– Вы что, подозреваете Чичерина?!

– Да там вот так всё! Ты же прочел. Что ни глава, то готовый подозреваемый.

– Не мог же он, когда за мальчиками по барам бегал, знать, что станет наркомом иностранных дел.

– Никто не знал, что настанет другая жизнь. А для некоторых даже и очень жирная и сладкая новая жизнь. В этом вся соль данного произведения. То есть его яд. Смертоносный – без всяких сомнений.

– Деньги за секреты вымогала?

– Черт его знает. Может... Эх, Крачкина бы сюда.

– Можно подумать, от этого имен в разработке меньше станет, – огрызнулся Нефедов. Его ревность Зайцева позабавила. И даже тронула.

– Не, Крачкин не ты, он в именах сразу потонет... Но тут, видишь ли, явно психология есть. В которой ты и я – чего уж там – ни ухом, ни рылом.

– В людях мы кое-что понимаем, – самолюбиво заметил Нефедов.

– В людях да. Но уж больно много она упоминает людей из дореволюционной жизни.

Варя Метель казалась Зайцеву такой же древней и непонятной, как письма южноамериканских майя.

– Вот где Крачкин спец, – добавил он.

– Не все из дореволюционной, – возразил Нефедов. – Товарищ Каплун, например. И товарищ Запорожец.

Зайцев кивнул:

– Да, Запорожец на тот день, когда они с Варей на чужую дачу влезли, думаю, уже в ГПУ служил. То бишь в ЧК. Провокатором или вроде того. Легко проверяется по его личному делу.

– А если...

Нефедов, видимо, хотел повторить: а если это они?

– Не скачи вперед паровоза, – перебил Зайцев. – Мы пока не знаем больше, чем написано в этих тетрадочках... В общем, Нефедов, ты от этих мебели – пока ни шагу. Молчи в тряпочку. Обдумывай прочитанное. Копайся в обивке, сверли дырки. Делай вид, что ищешь рукопись, как и было поручено. Тяни кота в долгий ящик. Нам сейчас время до зарезу нужно.

Нефедов смотрел с обычным сонным видом. Не одобрял.

– Не надо в это лезть, – неохотно признался.

Зайцев рассердился.

– Что Гудков в четверг замок врезал в комнате у музыканта и про пузырь в рояле – правда?

Нефедов вздохнул.

Визиту музыкант, которого упоминал Гудков, не обрадовался. Вызов даже не запомнил («Слесарь? Был какой-то. Я не видел... Я не знаю»). Но поняв, что гость – не из ГПУ, ожил. Вспомнил. Удивился. («Слесарь у меня в рояле бутылку заметил? Талантливый у нас народ, товарищ следователь».) Схрон в инструменте показал: «От супруги». И даже дарбалызнуть предложил.

– Гудков не соврал, – вынужден был признать Нефедов.

– Во-во, – наставительно сказал Зайцев. – Гражданин Гудков, конечно, не большая потеря для эволюции человечества. Алкаш, лентяй, ворюга. Вошь, прямо скажем. Но не убийца. И для правосудия он – невиновный.

Нефедов отвернулся.

– Ты что, Нефедов? Да если они сейчас тетрабочки эти получают, то делу конец. Тем более и козла отпущения искать не надо: расстреляют Гудкова как убийцу Вариного.

В профиль он тоже был похож на сову.

– Если Гудков тебе не симпатичен... – не сдавался Зайцев, – а он никому не симпатичен – то думай, что у Вари в этой жизни последнее осталось – право на то, что убийцу ее будут ловить... Поймают и накажут, – тут же поправился он.

Нефедов повернулся. Отозвался словно нехотя:

– Вам это помогает?

– Иногда.

Нефедов поднялся из кресла. «Ему ничего не мешает пойти – и стукнуть в Большой дом», – подумал Зайцев. Тоже встал.

– Странно, – сказал Нефедов.

«Еще как», – подумал Зайцев.

– Ничего не странно. Дело как дело.

– Странно: мы знаем имя убийцы. Она нам сама сообщила. Оно вот здесь, черным по белому написано. Мы просто не знаем, что оно принадлежит убийце.

«Мы, – отлегло у Зайцева от сердца. – Нет, не пойдет».

– Пока не знаем. Пока.

– Кстати, – но затем Нефедов умолк, словно передумал говорить.

«Кстати, а что мы будем делать, если выясним, что убили ее – или приказали убить – это те же самые люди, что приказали искать ее».

рукопись?» – за него сказал себе Зайцев. Ответа у него не было. Он уже взялся за дверь, когда Нефедов передумал опять:

– Кстати, по мне, Варя эта тоже не очень симпатичная.

Зайцев фыркнул, но от вертевшейся на языке реплики воздержался.

«ДОБРОЕ СЛОВО В ЖЕМЧУГАХ ХОДИТ»

Захожу, в коридоре темнота.

И голос поет в ванной. Мужской голос. Я остановилась, дивясь словам:

С одесского кичмана
Бежали два уркана,
Бежали два уркана в дальний путь.
Под вяземской малиной
Они остановились,
Они остановились отдохнуть.

Допев, пускает воду. И я слышу – Лиза шепотом кричит: «Здесь». Хорошо, бывала у нее не раз. Иду на ощупь, по стеночке. Нащупываю дверь. Тоже темно. Другую дверь. Вижу оконный проем, бледный от фонарного света с улицы. И силуэт.

– Лиза, – окликаю. Но она, не оборачиваясь, вскидывает руку: тихо! И машет мне: сюда. Поддавшись этой таинственности, на цыпочках подхожу. В бледном свете уличного фонаря вижу, как Лиза взволнована. А из ванной еле слышно – но я не могу не прислушиваться, невольно слушаю – доносится веселое:

Товарищ, товарищ,
Болят мои раны,
Болят мои раны у бокею
Одна заживает,
Другая нарывает,

А третья засела в глыбоке...

И опять шумит кран. Это очень не вяжется с бледным напряженным лицом Лизы. Она показывает пальцем вниз, под фонарь.

– Стоит... Осторожно! Чтобы она тебя не видела!

Я выглядываю из-за шторы.

– ...Пусть думает, что никого нет дома.

Внизу под фонарем женская фигура. Бледное пятно лица обращено вверх. Черные глаза, черные волосы. Такие личики называют «хорошенькими».

– Это жена Лёдика, – драматически заламывает руки Лиза.

– Ах, как она не понимает. Лёдик – талант, ему пора двигаться дальше. Расти. Духовно. И артистически.

Лёдик – голос из ванной.

– Ах, знаешь, он перевернул нашу оперетту. Сам он из Одессы. Такой талант... Уже сейчас публика идет на Утесова. На меня, конечно. Но на Утесова тоже. А она... Она тянет его назад. Что же делать?

Я не понимаю драмы. Ну жена. Ну стоит. Зачем меня было вызывать? Я уж думала, Лиза опять собралась травиться – ядом, позаимствованным в кабинете знаменитого мужа-химика.

– Ничего не делать. Замерзнет и уйдет, – говорю. – Поздно уже.

– Она с утра стоит, – опять ломает руки Лиза. – Что ей нужно?

– Лёдик, – говорю, пожав плечами. – Очевидно, ей нужен ее Лёдик.

Вскоре появляется и он: размытый, распаренный, в роскошном халате на шнуре с кистями, как от дворцовых портьер. Хотя кто сейчас знает: любое «как» может на самом деле оказаться знаком равенства. От дворцовых портьер.

Что сказать. Муж Лизы – импозантный профессор в области оптики кажется мне куда привлекательней. Но видно, у Лизы другая оптика.

– О, наше вам здравствуйте. Вы откуда и к кому, прекрасная незнакомка? Разрешите познакомиться? Утёсов моя фамилия. Но я переживу, если она вам ничего не говорит, потому что мне она тоже ничего не говорит, но это только пока! Если то, что вы гостья этой

дамы, так же верно, как и то, что ее гостем являюсь я, то прошу: помывочный цех свободен. Разрешите потереть спинку?

Тирада была втрое длиннее, чем я здесь пишу.

– Благодарю, – только и могу выдать я.

– Настоящий мужчина давно сделал бы что-нибудь, – нервно шипит Лиза.

Лёдик хохочет:

– Настоящий мужчина – это тот, кто в такой ситуации вообще способен быть мужчиной!

Его акцент не оставляет сомнений: это плод Одессы.

И одной рукой отмахивает портьеру. Стучит оконная рама.

– Лелька, уходи! – летит на улицу, поднимают лица редкие прохожие, мадам Утесова и ухом не ведет. – Или иди домой, надень по крайней мере, галоши, а потом приходи!

Одесса есть Одесса. Но как с ним закрутила Лиза, родственница поэту Блоку и жена профессора... Зачем?

Припоминаю, Лиза говорила: встретились в оперетте, вместе выступали. Ах эта оперетта... Пара сезонов – и сама себе кажешься летучей мышью.

Закрыв окно, он плюхнулся в кресло. Подвинул столик. Налил себе коньяк. Сел раскладывать пасьянс, мурлыча себе под нос уже знакомый мне мотивчик. Под абажуром блестели мокрые волосы.

Я так прикинула навскидку: этот Лёдик, он ее лет на десять младше. По самой скромной оценке... Неужели, когда и мне однажды стукнет тридцать пять, я тоже начну бегать за лёдиками? Неужели мне тоже однажды стукнет тридцать пять?

Боюсь, мои классово-философско-арифметические, главное арифметические, выкладки как-то промелькнули у меня на лице. Потому что Лиза пошла пятнами. И поспешно схватила меня за руки:

– Спустишь к ней ты!

– Это еще зачем?

– Уговори ее... убеди... культурно...

Тут же несется из кресла:

– Курица курице глаз не выклюет. Впрочем, курица, как известно, не птица, баба не человек.

И не унывая, затягивает новую песню:

Раскинулось море широко....

Шлепают на стол карты. Я киваю.

Спускаюсь. Не могу не думать о том, что Лиза сейчас смотрит вниз. А может, Лёдик как раз сейчас ей доказывает, что и в такой ситуации может проявить себя как мужчина? Или все еще поет?

У темной витрины булочной невольно замедляю шаги. Смотрю на белеющее отражение. О, эта новая мода. Злая волшебница. Превжих пухлых ангелочков превратила в жирных коров. А давно ли все смеялись над тощей Рубинштейн: «доска два соска»? Сейчас это самая желанная фигура... Ко мне эта злая волшебница оказалась благосклонна.

Женщина у фонаря на меня не смотрит. В витрину тоже. Ей не до мод и фигур. С чего я, вообще, решила, что придется кого-то утешать? Что кто-то будет рыдать? Она-то не зарыдает, это точно. Глаза властные, черные, вот уж «очи жгучие». Теперь я понимаю, отчего Лёдик все поет как патефон, все хохмит. До чего он перепуган. Как нашкодивший мальчишка. Глава семьи – это она. Она, должна признать, красавица. Она молода. И она не сойдет с места.

Лизу пора спасать. Иначе эта черноглазая взойдет по стене силой воли, не сомневаюсь.

– Послушайте, – делаю к ней шаг я. – Вы меня не знаете, а я вас. И я вам не друг. Но сделайте, как я советую.

На следующий день Лиза опять звонит. Вернее, на следующий вечер. Хохочет, как будто пробует на роль демонической женщины. А потом рыдает, как будто вместо роли демонической женщины ей пообещали роль болотной выпя. Чмокает вынимаемая пробка. Звякает об трубку бокал.

Обещаю приехать. И в самом деле отправляюсь.

Мишель выглядывает из своей комнаты. «Изотты» давно нет, но рефлекс у него остался: меня отвезти? Он пытается хотя бы сопроводить меня на трамвае. Шофер по крови! Машу ему рукой: не надо.

– Я ненадолго.

Трамваи тащатся медленно. Когда я приезжаю, Лиза пьяна. Язык у нее заплетается. И я не сразу понимаю, что буровит она – что-то про драгоценности.

Хватает меня за жакет. Так и вцепляется в лацканы пьяной хваткой:

– Умоляю, поезжай к нему!

– Но, дорогая, что случилось?

Я уже понимаю, что черноглазая последовала моему совету. Мы, такие как она и я, видим друг друга с первого взгляда, верим друг другу с первого слова: не доверяем, но верим. Потому что из одной глины.

Я все уже поняла. Просто хочу услышать это из уст Лизы. Профессорской дочери, профессорской жены.

Лиза рассказывает. Мысленно я аплодирую черноглазой: достать так быстро воз дров – совсем не легко. Но она достала. Я в нее верила. Я не ошиблась.

– И она сказала... ах!.. она сказала...

– Что же она сказала, Лизонька? Она вас обозвала?

– Хуже!.. Она сказала: вы только уж топите хорошо, Лёдику нужно беречь голос... Боже мой, я сразу почувствовала себя такой мамашей... такой...

Она хотела сказать «старой», но испугалась. А вдруг окажется правдой? И просто повторила:

– ...такой мамашей.

– Но, Лизонька, я только не поняла: драгоценности...

Наконец пьянеющий язык справляется с историей. Изгнанный Лёдик прихватил футляр с египетской парюрой. Я помню эти вещи, дивные.

– Так не годится. Потребуйте вернуть.

– Но я сама их ему дала. На костюмы, – шепчет. Алеет, как институтка, и уточняет: – Для спектакля.

Потому что я, конечно, уже представила не театральные костюмы, а эти модные мужские, с широкими брюками и ватными плечами.

– Мы собирались вместе делать спектакль, – продолжает врать она, но врет робко, интеллигентно. Вот это уже не по мне: решилась во все тяжкие – соответствуй!

– Теперь же спектакль не состоится? Верно?.. Так за чем же дело?

– Ах...

И наконец сознается:

– Это был подарок Александра Федоровича.

О, да. Роман с Керенским. Точно, весь Петроград судачил, что они поженились. «Отдайте побрякушки, это подарок Керенского», – это не те слова, которые подействуют в советском Петрограде. Вернее, подействуют совсем не так. Не говоря о том, как странно они будут смотреться в заявлении для милиции.

– Но между нами тогда ничего не было!

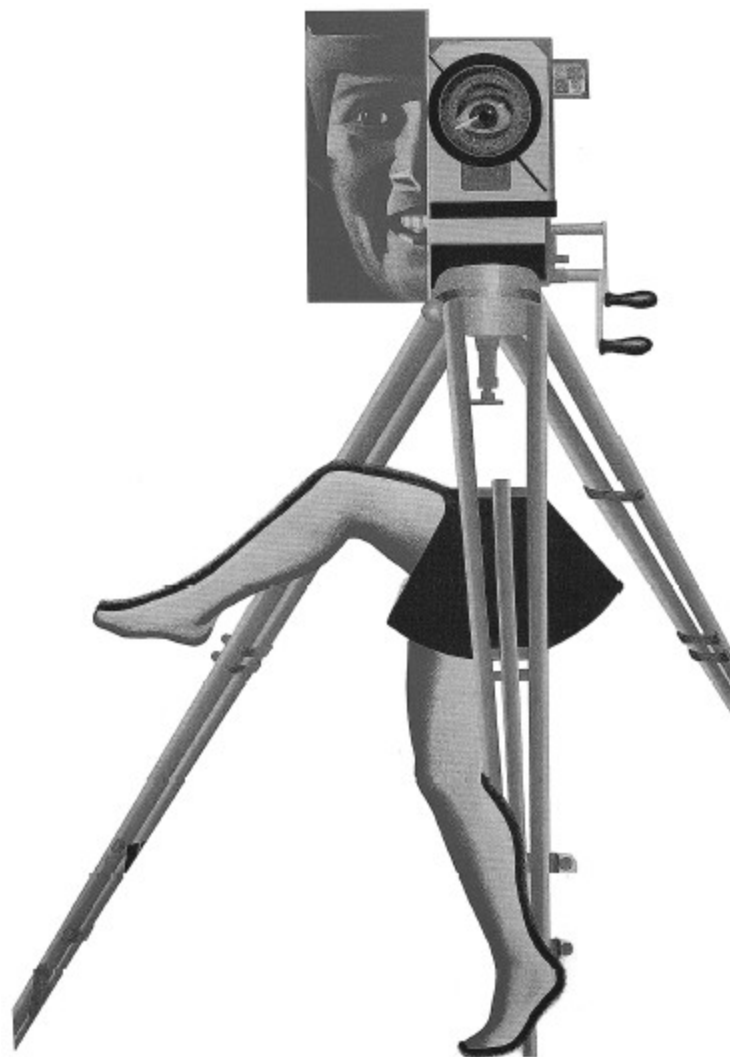
Не было, не было, Лиза даже давала опровержение в газеты. То есть давали: она и ее муж.

Мы повздыхали, допили вино и разошлись.

Ее муж вернулся из командировки, так и не узнав, что Лизино сердце было счастливо, разбито и снова склеено.

Парюры он тем более не хватился – не та вещь, про которую мужчина сейчас может сказать: «Лизочек, что-то ты ее перестала носить». Слишком уж давно перестала – эта новая мода, она вознесла на гребень совершеннейшую стеклянную чепуху. Не брошки, а спортивные значки какие-то, честное слово.

Глава 13



Ленинградская кинофабрика располагалась на другом берегу Невы. Но Зайцев – вопреки тому, что сказал Нефедову, – спрыгнул с трамвая гораздо раньше: на перекрестке улицы 3 Июля и проспекта 25 Октября. Обычная ленинградская прямота линий и углов здесь скрадывалась. Здание Публичной библиотеки вдавалось в перекресток скругленным боком, его белые колонны словно собирались в хоровод, но так его и не сомкнули. У подножия кипел муравьиный хаос – поблизости было сразу два больших универмага: Гостиный двор и Пассаж.

Зайцев не обернулся на афишу, которая орала ему вслед: УТЕСОВ ТЕАДЖАЗ.

Библиотека была оазисом тишины. Царством склоненных затылков, мягких шагов и зеленых ламп.

Ожидая библиотекаря, Зайцев плавал взглядом по свежим газетам, веером выложенным на столе – каждая в своей подшивке на дощечке с бечевкой. В германском рейхстаге все продолжались безобразия, сухо докладывали сероватые буквы. Зайцев перевернул лист – глянуло лицо немецкого канцлера Гитлера с модными усами квадратиком.

– Что вам угодно? – вежливо пригласил голос. Зайцев выпустил газетный лист, он упал с осенним шорохом. Библиотекарь был в костюме, из-под которого виднелся джентльменский вязаный жилет, а в вырез жилета уходил английский галстук. У учреждения был свой стиль.

Зайцев объяснил.

– Год?

Балерина Лидия Иванова утонула в 1924 году, собиралась ехать на гастроли за границу, и вот ровно перед отъездом такое несчастье. Это Зайцев помнил – шум вокруг ее гибели был большой. Сразу вскипели слухи, поползли сплетни – город всколыхнуло, в городе Иванову любили. Только поэтому Зайцев потом и обратил внимание на похожий случай.

– Год двадцать четвертый. И двадцать пятый, – прибавил Зайцев для надежности. Выудить из памяти точнее ему не удалось.

– Вам повезло, – невозмутимо сообщил джентльмен. – Старые газеты недавно перевели из подвалов в основной фонд. И сделали каталог, – добавил он не без гордости, хотя каталог Зайцеву был не нужен.

– Располагайтесь.

И вскоре перед Зайцевым легла плита слежавшейся газетной бумаги. И еще одна. Бумага пожелтела так, будто прошло несколько не лет, а десятилетий. На пальцах сразу появилось ощущение сухой пыли. Бумага разлагалась, умирала.

Зайцев принялся переворачивать хрупкие листы «Известий». Прикинул: «Катание на лодке... Значит, поздняя весна, лето, самое большое – ранняя осень». Он отвернул ненужные зимние и весенние

месяцы. С апреля стал листать внимательнее. Нужную статью он нашел в номере от 29 августа 25-года.

В двадцатые газеты были куда болтливее, чем сейчас. Не скупилась на подробности. Взгляд отмечал важные. Нужные.

«...на пристани находилась моторная лодка, но механика не было. Решено было взять 2 каика и одну лодку. ...лодка держалась берега, а каики ушли на середину, где начались водовороты. ...заявил, что он хороший пловец и умеет справляться с каиком. ...начал наполняться водой». «Хургина нашли через полтора часа, – читал Зайцев. – Глаза его были широко раскрыты».

Похоже и не похоже на гибель Ивановой. Случайное сходство? Или неслучайная вариация одного и того же, как это называл Крачкин, *modus operandi*.

Иванова утонула в Неве, при впадении реки в Финский залив. А эта статья называлась «Тихие омуты озера Лонглейк». И утонули не балерины, а сотрудники советской организации «Амторг» товарищи Склянский и Хургин. Выражение «тихие омуты» здесь было в сугубо географическом смысле. Или не совсем? В те годы газеты позволяли себе намеки.

– Прощу прощения, – шепотом окликнул Зайцев склоненный лоб джентльмена за столом с табличкой «дежурный библиограф».

– Закончили? – поднял он взгляд, на носу пенсне.

– Нет-нет, но почти. Вы случайно не знаете, когда открылось посольство СССР в Америке?

«Товарищ Розанова меня бы убила на месте», – подумал Зайцев: важная политинформация, а он ни в зуб.

– У СССР нет дипломатических отношений с Америкой, – последовало.

– Благодарю, – Зайцев поддался тону.

Посольства нет, есть «Амторг», задумался он: название прозрачное – американская торговля. А вот деятельность, похоже, не очень.

Зайцев прочел статью еще раз. Уже под новым углом.

«Прибыли в дачную местность Лонглейк (на севере штата Нью-Йорк) на совещание с некоторыми ответственными сотрудниками советских учреждений в Соед. Штатах. Лонглейк был выбран как наиболее удобный пункт, поскольку участники совещания съезжались

из различных городов». «Совещание закончилось. Оставалось несколько свободных часов до отъезда. Хургин предложил покататься на лодке по озеру Лонглейк».

«Естественно, его идея. Мертвые всегда виноваты», – размышлял Зайцев. Он перевернул еще несколько газетных листов. Но больше ничего по делу не нашел. Только некролог утонувшему товарищу Склянскому, подписанный товарищем Троцким. Поблагодарил еще раз за помощь.

– Газеты просто оставьте на столе, – кивнул библиограф.

Но направился Зайцев не к выходу. А к столу с толстенными адресно-телефонными справочниками по Ленинграду, Москве и Киеву. Нашел адрес московской конторы «Амторга», переписал себе в блокнот.

* * *

Сновали прохожие, тренькнул трамвай.

Зайцев подошел к афише Теаджаза, обнимавшей округлую тумбу: УТЕСОВ, «Музыкальный магазин». А со щита на перекрестке уже светила другая: УТЕСОВ. И на другой стороне проспекта – хоть и слов уже не разобрать.

Мысль Зайцева одним махом воздвигла карточный домик: Варя обнаруживает на афише давнего знакомого. Мог товарищ Утесов огорчиться такому привету из прошлого? Если судить по Вариному описанию, у супруги артиста крутой нрав и тяжелая рука. Но в данном случае опасался он скорее уж не супруги. А ГПУ. Тут тебе и драгоценности, и то ли жена, то ли не жена Керенского.

Допустим, он огорчается. Он уже не одесский мальчик. Теперь ему есть что терять. А впереди дразнит, обещает себя еще большая, всесоюзная слава – слава киноактера.

Выцедить из себя спокойную ответную записочку – «уважаемая» и «привет» – ему удастся.

Но сохранить спокойствие – нет.

Варя угрожает.

Возможно, дает ему прочесть тот кусок воспоминаний, где говорится о нем. Он соглашается на встречу у нее дома. Она

изображает из себя королеву в изгнании перед соседями. Но Лёдик получает от нее четкие инструкции. Она заранее смазала механизм лифта жиром. Он поднимается, неслышный и невидимый, и... Одним ударом Зайцев смахнул всю постройку.

Гражданин тянул его за рукав:

– Почему?

– Что?

– Лишний билетик.

– Куда? – удивился Зайцев.

– На Утесова! – начал сердиться гражданин.

– У меня нет, – ответил Зайцев.

– Какого черта вы тогда здесь торчите! – вскипел тот. Потрусил прочь.

Зайцев пожал плечами. Изучил афишу. Представления Теаджаза шли в Мюзик-холле. Бывший Народный дом в бывшем Александровском саду. Совсем рядом с улицей Красных Зорь. «Все-таки у нас очень маленький город», – с удовольствием подумал Зайцев.

– Товарищ! – звонко окликнули сзади. Две студентки – заговорили разом:

– Лишний билетик! На Утесова! Почему?

* * *

Черноглазый музыкант зажал своего медного гада под мышкой, подмигнул Зайцеву, затарабанил в дверь.

– А теперь – головой, – раздалось хамское, но приветливое.

– Товарищ Утесов, к вам, – тон был умышленно подмаслен.

– Барышня? Дама? Старушка? Я занят, обедаю, отдыхаю, курю, учу партию, умер, – предложил голос из-за двери.

– Мужчина, – вкрадчиво продолжал переговоры музыкант.

– Уголовный розыск, – подсказал Зайцев, которому это все начало слегка надоедать, ибо черноглазый музыкант был его не первым вергилием за кулисами Мюзик-холла. Сначала Зайцев наслаждался остроумием трубача, потом пианиста, пианист передал его скрипке, скрипка – альту. Альт, может, придумал бы что-то еще, но его отвлекли – и Зайцев решил, что уж саксофон от него просто так не отделается.

– Точно мужчина? – засомневался голос. – Не переодетая дама?

– В кепке, – заверил саксофон.

– Тю. Надень на кого угодно кепку. В кепке выступает даже балерина Большого театра Суламифь Мессерер. Это не Суламифь Мессерер?

– Моя фамилия Зайцев. Я из угрозыска.

За дверью помолчали. Видимо, прикидывая, это что еще за шутка.

– Входите.

И тут же разочарованно:

– Ты же сказал: Суламифь Мессерер!.. Товарищ, вам тоже подписать фотокарточку? Дать шефский концерт? Прислушать вашего трехлетнего сына скрипача-виртуоза? Или вы сами играете на скрипке пальцами ног? Точно из угрозыска? Ну-ну. Польщен.

Сыпал как горохом. А сам внимательно и быстро его изучил, это от Зайцева не укрылось. Утесов зажал папиросу в зубах, протянул руку, пожал. Показал на кресло:

– Садитесь. Как живете-чувствуете?

– Как велосипед, – отозвался Зайцев. Саксофон и его шеф уставились друг на друга. На Зайцева. Тот пояснил:

– Пока еду, хорошо. Остановлюсь – сразу падаю.

В карих глазах Утёсова загорелись искорки. Зайцев попал в тон.

– Гриша, родной, уйди с глаз моих долой. Сгинь, милый.

Дверь любезно закрылась.

– Курите?

Зайцев отрицательно взмахнул ладонью:

– Спасибо.

– Это зачем же угрозыск пожаловал?

Утесов крутанулся на табурете к зеркалу, оставив Зайцева за спиной, затушил сигарету, надел на волосы сетку, открутил голову баночке с вазелином, принялся втирать его в свои щеки, перерезанные двумя фельдфебельскими морщинами, при этом весело поглядывал на гостя в отражение.

– Думаете, оттого что, – он замурлыкал: – с одесского кичмана бегут два уркагана, – и опять перешел с вокала на прозу, подставил зеркалу другую щеку: – Так меня каждый питерский уркаган знает, а я его? Если первое и может быть верным, хотя если признать это, то

пришлось бы расписаться в некоем недостатке личной скромности, тем не менее второе утверждение представляется менее бесспорным.

Убрав вазелин, он открыл коробу с гримом, цвет которого неприятно напомнил Зайцеву отретушированные трупы из морга.

– А что, с Суламифь Мессерер вы лично знакомы?

Утесов только усмехнулся.

– А она что говорит?

– А с Варей Метель?

– Она тоже танцует в Большом? Не знаком.

Зайцев вытянул из-под задницы, из брючного кармана, блокнот, а из-за пиджачного борта – карандаш.

Рука, втиравшая в лоб пасту цвета дамских чулок, остановилась. Утесов сделал зеркалу круглые глаза:

– Вы что – серьезно? Записывать будете?

– Нет. За кого вы меня приняли? Решил набросать ваш портрет в профиль.

– Я просто удивился, что в милиции методы до сих пор такие допотопные. Карандашом! Не по методу профессора Шорина? У вас есть шоринофон? Прелестная штука. Нажимаете кнопку. Говорите. Чемоданчик тем временем фурычит. Нажимаете другую – и он вам играет весь разговор с первого «здрасьте» до последнего «прости». Ей-богу, звучит, как будто я выдумал все это на ходу, и профессора, и его зеленый чемоданчик, но я ничего не выдумал. Все это чистая правда, чистая, как вода в водопроводе, трубы которого только что отремонтировали.

Рука, растиравшая грим, ожила, снова массировала, терла лоб, порхала на нос, под носом, описывала подбородок.

– Очень рекомендую. Шоринофон – будущее звука, а симпатичный зеленый чемоданчик с пленками так и видится мне на службе советской милиции, не только советского кино.

– В смысле – кино?

– А вы что – пришли не роль просить? Для троюродного племянника сводной тети со стороны бабушки? Ну так спешу вас огорчить, симпатичный товарищ милиционер с чувством юмора: все роли розданы, музыкальный магазин, если позволите мне так выразиться, закрыт!

Утесов показал зеркалу одну щеку, другую, оттянул вниз веко. Оценил слишком красные капилляры, придававшие белку несколько больной оттенок. Вскинул взгляд на отражение позади себя.

Но никакого агента там уже не было.

* * *

Особо тяжкими преступлениями люди кино до сих пор не промышляли, а хищениями государственной собственности, халатностью и растратами занималась другая бригада. Зайцеву до сих пор не случалось бывать на ленинградской кинофабрике.

Все куда-то бежали, на кого-то орали, кого-то звали, трещали телефоны. Он быстро почувствовал себя если и не уютно, то на своем месте. В угрозыске так или почти так было каждый вечер. Даже пахло здесь похоже: человеческим потом и канцелярией. Минус запах перегара, сопровождающий большинство ленинградских преступлений. Взамен него в воздухе Зайцев ощущал неизвестный ему химический привкус. Но предположить, что это, не успел. В руку ему тут же вцепился гражданин с выпученными глазами. Если бы не стоявшие дыбом проволочные кудри и совершенно сухая одежда, выглядел гражданин так, будто его внезапно окатили водой.

– Вот вы где! Ворон ловите! Ну!

И увлек Зайцева за собой с энергией, способной вращать турбины новенькой советской Днепрогэс имени Ленина. Выпученные глаза, казалось, освещали дорогу, как фары. В павильонах и коридорах стоял интимный полумрак. Рыбами скользили, уворачивались от столкновений работники киностудии. Потолки терялись где-то в сумеречной высоте. Зайцев чувствовал себя как во сне, это его позабавило, он отдался течению чужой ему жизни. Через несколько минут она привела его под слепящие белые лампы. У трельяжа стояла коротко стриженная женщина в синем халате. Дым ее сигареты уплывал к лампам. Клубился, как полупрозрачные водоросли.

– Вот! – возвестил лупоглазый. – Сил моих больше нет вас всех по углам собирать. Только камеру выключат, расползаются, как тараканы. Пауза не для вас! Запомните! А для актеров и режиссера! Я вам не Наполеон, чтобы за каждым бегать. Что?

– Моисей Борисч, я давно предлагаю: давать сирену. Общую повестку. Как на заводе. Перекур окончен.

– Кстати, вы. Не курите! – Моисей Борисович ткнул пальцем в знак, изображавший перечеркнутую сигарету. – Огнеопасно!

Женщина неторопливо затянулась. Потом так же томно загасила сигарету в маленькую пепельницу. А Моисей Борисович уже унесся. Стриженная женщина отодвинула пепельницу и без предисловий схватила Зайцева за нос. Сон затянулся, подумал он. Она тянула его с недовольным видом, как будто нос на Зайцеве был чужой, резиновый или вообще лишний.

– Нос некондиционный.

И не успел Зайцев глазом моргнуть, как она подцепила железный пинцет. И через секунду у Зайцева оказалось по ватной пробке в каждой ноздре, а в голове – ощущение глухого насморка. Женщина созерцала результат, слегка откинувшись.

– Нет, – возвестила. – Какой же это тип? С ума посходили? Народные носы нужны. А это не нос, это контрреволюция. Черт-те кого приводят. А я возись. Сядьте, – приказала Зайцеву, толкнув ногой к нему маленькую табуретку на колесиках. Принялась мять в пальцах розоватую пластилиновую массу. – Если б аванс таким, как вы, не выдавали, гнала бы вас в три шеи. Если я с каждым в массовке так возиться буду, то план никогда не дадим... Да сядьте же! Что вы делаете?!

Зайцев извлек из носа ватные пробки и отшвырнул.

– Моисей Борисч! – завопила женщина.

Но Зайцев уже достал удостоверение.

От Моисея Борисовича толку оказалось не больше.

– Не знаю. Откуда мне знать. Тут знаете, какие толпы валят. На массовку особенно. А я вам не Наполеон, чтобы всех помнить.

– Уж Варю Метель вы должны знать в лицо.

Моисей Борисович еще больше вытаращил глаза.

– Голубчик мой! Что?

– Я знаю. Вы не Наполеон.

– Да тут и Наполеон имел бы бледный вид. Конечно, я знаю, что была такая Метель. «Закованные льдами», «Жена фараона», «Смерть за любовь», «Замок Тамары». Но голубчик! Актриса немой фильмы в гриме и актриса без грима – это две большие разницы! Откуда мне

знать, какое у нее лицо? Может, приходила. Может, не приходила. Наверное, приходила. Тут пол-Ленинграда... нет, вру, две трети Ленинграда на пробы прибежало. Как узнали, что товарищ Утесов делает звуковую фильму из своего «Музыкального магазина». Что? Вы не в курсе? Весь Ленинград в курсе. Со всеми номерами. Музыкой, вокалом... Вы не интересуетесь джазом! – с ужасом сделал вывод он.

– Танцев с музыкой мне хватает и на службе, – пробормотал Зайцев. Под треск администратора думал: «Варя как раз собиралась с триумфом вернуться в кино. И вдруг ее старый знакомый Лёдик с шумной затеей... Назначила его своей колесницей. Шантаж – нож».

Мог одесский балабол быть убийцей? Пришили Варю не в драке, не в аффекте – тщательно спланировали. Так действует тот, кто уже убивал. Кто знает блатные песни, может, знает и блатную жизнь? Запрос в одесский угро? Сразу встанут на уши. Слишком известная фигура... Все лучше и лучше».

– ...о, мне вас жаль, – пробилось сквозь мысли к слуху. – Ваша девушка вас не одобрит. Спектакль Теаджаза «Музыкальный магазин» это прелесть что такое. А Утесов... С одесского кичма-а-ана, – вдруг затянул он козлетоном.

– Кто такой Утесов, я знаю, – прервал он вокальный пример.

– Вы должны непременно...

Но Зайцев не успел узнать, что еще он должен. Глаза вытаращились вдаль.

– Вот вы где! – завопил Моисей Борисович. – Я что – Наполеон, чтобы за вами всеми персонально бегать?.. Прошу прощения, товарищ. Вы к администратору Горшкову обратитесь.

Он взял с места в карьер и пропал.

Насколько от Моисея Борисовича било жизнью, настолько белесый товарищ Горшков был ею перекормлен. Желтые глаза напоминали глаза рыбы, трески. Но так, что Зайцев сразу вспомнил, что треска – рыба хищная.

Еще только увидев прямоугольничек удостоверения, товарищ Горшков быстро спросил:

– Из Москвы? Вас Шумяцкий прислал?

Со смесью напряжения и злобы.

Зайцев разуверил его. Узнав, что посетитель не из Москвы и не от некоего товарища Шумяцкого, Горшков явно успокоился, обмяк. Развалился. Растянул улыбку.

«Редкий случай. Кто-то рад уголовному розыску», – подумал Зайцев.

– Просто у нас план. А товарищи разные... из Москвы... нороят постановку «Музыкального магазина» увести из-под носа. А у нас – план по картинам, – повторил он. И тут же деловито осведомился: – Что разыскиваете?

Услышав, не выказал ничего.

– Конечно, – быстро ответил. – Я и без картотеки укажу.

И посыпалось:

– Есть Владимир – Лебедев, художник. В последнее время мы работаем редко. Еще Владимир Эрдман – тоже художник, брат нашего лучшего текстовика, который на «Музыкальном магазине» сейчас. Еще текстовик, который в паре с Эрдманом работает, но не с Владимиром, а с Николаем, который текстовик. Он тоже Владимир. Владимир Масс. Еще есть Владимир – Нильсен. Оператор.

Горшков вдруг поморщился.

– Он, строго говоря, не наш. Его на «Музыкальный магазин» Москва привела.

– Погодите, – остановил поток Зайцев.

Слишком много пересечений. По горизонтали – письмо Утесова «уважаемой» Варе, письма некоего Владимира, ее планы вернуться в кино – планы, над которыми она работала, как боксер на пути к решающему поединку. По вертикали: «Музыкальный магазин» Утесова, кино Утесова, пучок Владимиров, так или иначе связанных с «Музыкальным магазином». По крайней мере одно из этих пересечений не было случайным. Как в игре «Тепло-холодно», Зайцев почувствовал, как накаляется невидимая пока нить: след.

– У меня еще вопрос. Точнее просьба.

– Да?

И опять Горшков не задал ни единого вопроса. Сразу снял трубку:

– В просмотрную отсюда, все, что есть на Метель.

«Как только они его понимают?» – подивился Зайцев.

Цокая каблучками, впереди них бежала секретарша. Товарищ Горшков сам его проводил, усадил, оставил. Свет погас. Темнота

слилась с тишиной в одно бархатистое непроницаемое ничто.

Тишина затянулась. Темнота уже казалась загробной. Зайцев засомневался: точно ли распоряжения товарища Горшкова были поняты? Правильно поняты? Под ним не скрипело даже кресло. Казалось, он оглох и ослеп. Как ни озирался Зайцев, ничего не мог разглядеть в темноте. Как ни прислушивался, ухо не ловило ни шороха, ни скрипа, ни стука. Нет, шорох!.. Нет: это он сам – дышит. Зайцев уже решил встать и, вытянув руки, искать выход, когда раздался негромкий хлопок. Над его головой встала труба света. Она сходилась в точку где-то на невидимой задней стене. А широкий ее конец лег огромным белым прямоугольником прямо перед Зайцевым. Зашуршало, как внутри осинового гнезда. По белому прямоугольнику прошел снег. И выскочила дрожащая надпись:

ЗАМОКЪ ТАМАРЫ.

Зайцев откинулся в темную пропасть, оттуда вынырнула, подхватила его мягкая спинка кресла. На экране возникло белое лицо с двумя черными кругами и черной изогнутой щелью рта. Глаза открылись: два черных угля. Не лицо – маска.

– Кто же ты такая, Варя? – прошептал он.

Зайцев утратил ощущение времени. Пора было и поесть, и сходить в туалет, но он не чувствовал ни того, ни другого, словно отделился от тела. Ему уже не казались неуклюжими жесты, дергаными – движения, уже актеры – и мужчины, и женщины – не напоминали ему растерянных упырей своими одинаково белыми, как бы мучными, лицами с черными кругами вокруг глаз и ртом, точно прорезанными ножом в картоне.

Оттого что все происходило в полнейшей тишине, как будто люди на экране вообще не способны были производить звуки, Зайцев, растворенный в темноте, сам себе стал казаться не совсем настоящим.

– Товарищ, ку-ку, вы там что, спите?

Зайцев чуть не скатился с кресла. И вероятно, от неожиданности – от полумрака и неожиданности – ему показалось, что перед ним – Зоя Соколова, товарищ Соколова. С которой они ездили на Дон. Короткая стрижка, шелковая блузка с круглыми пуговками, узкая юбка,

накрашенные губки. Только через несколько долгих мгновений – окончательно вынырнув из фильмовых грез – он понял, что она не беременна. И что это не Зоя. Даже не похожа. Просто тот же тип конторской барышни. Зоя была негнушащаяся и несгибаемая, с железными принципами, которыми она спешила тюкнуть по голове. А эта – сливочная куколка.

– Я секретарша товарища Горшкова, – торопливо напомнила куколка. – То есть не секретарша. Это пока что. А вообще, я актриса, начинающая, но это уже железно.

И опять сдула локончик, который перед этим сама же стряхнула на лоб.

К Зайцеву, впрочем, кокетство не имело отношения. Вернее, не относилось лично. К категории «женихов» он в глазах таких барышень не принадлежал.

Ну и пусть. Зайцев невольно улыбнулся, глядя на вздернутый носик, блестящие, заботливо обрисованные карандашиком глазки. Даже короткая стрижка у нее была подвита, лежала кокетливо.

Губки сложились сердечком и опять сдули с невысокого круглого лобика локончик.

Дунула и звонко сообщила:

– Ну вот это – уже точно всё!

В руках у нее блестели круглые плоские коробки.

– Всё?! – не удержался Зайцев – Фильм с участием Метель был же мильён, не меньше.

Барышня пожала плечиками.

– А зачем вам эта рухлядь? К тому же без звука, – тотчас сунула она свой прелестный носик куда не следует. – Вы из уголовного розыска? Это правда?

– А что вам еще рассказать?

Глазки загорелись. От белого прямоугольника на кукольное личико ложился лунный свет. Не хватало только пения соловья.

Он кивнул на коробки.

– Я думал, девушкам нравится кино.

– Нравится. Только не такое же старье. Мы и сами не знали, что эти фильмы у нас на складе валяются. Разве это кино? Дергаются и кривляются, как обезьяны. В кино мне нравится Мэри Пикфорд. И

Дуглас Фэрбэнкс. Он душка. И Лиллиан Гиш. Вы смотрели «Сломанные цветы»? Даже не страшно, что без звука.

«Старое, – подумал Зайцев. – Вот и мы думали: Варя – старуха».

– Смотрели или нет?

Если вдуматься, она не так уж отличалась от Зои внутренне. Во всяком случае, у Зайцева появилось знакомое чувство, что на голову надели ведро и бьют по нему черпаком.

– Не смотрели?

Котировки Зайцева в ее глазах упали еще ниже – он с удивлением обнаружил, что им вообще было куда падать.

– Да и это не важно. Вот вы лучше через год к нам придите. У нас через год знаете, что здесь будет? Холливуд! – Каждый слог сочно лопнул у нее во рту, как виноградина. – Вы знаете, что такое Холливуд? Город, где нет ничего – только одни сплошные кинофабрики. Идете в магазин, а там Дуглас Фэрбэнкс. В парикмахерскую – а там Мэри Пикфорд. В булочную – а там Лиллиан Гиш. Только никому они уже не интересны будут.

– Все будут смотреть на вас? – не удержался Зайцев.

– Зачем же? Ну, может, и на меня, я не знаю... Не в этом ведь дело. Звук! Вот что главное! Теперь все фильмы будут говорить. Петть! И играть на инструментах! Здорово, правда?

Если Горшков молчал, как камень, то из его секретарши информация извергалась водопадом.

– Это как, весь Ленинград покроется кинофабриками?

По ее лобику пробежало презрение.

– Вы не знаете, что такое Холливуд. Нет... Не Ленинград, – терпеливо начала разъяснять она, но с таким видом, что вот-вот потеряет это терпение. – А где-нибудь на Заливе. Может, Петергоф. Или Детское... Если нас, конечно, не опередят москвичи. Никому не говорите. Это разбойники с большой дороги. И главарь у них, к сожалению, товарищ Шумяцкий.

«То-то товарищ Горшков ждал нападения из Москвы», – вспомнил Зайцев.

– Что, хотят первыми захватить Петергоф и покрыть его кинофабриками?

– Пф! Не скажете? Вы умеете хранить секреты?

Разговор с болтливой секретаршей Горшкова быстро его измучил. Сил хватило только на кивок.

– Гагры. Крым. Природа им, видите ли, здесь не такая. Климат не нравится. Натура якобы плохая. Они бы и «Музыкальный магазин» себе захватили. Если бы товарищ Горшков не отбил.

Зайцев вспомнил нервную собранность директора: «И по-видимому, битва не завершена». А девицу спросил:

– А чем плохи Гагры? Вы не хотите жить в Крыму?

Она смерила его презрительным взглядом. Нет ничего хуже, чем спросить у ленинградской девушки, даже очень глупой, не хочет ли она жить не в Ленинграде.

– Вы меня отвлекаете, – сухо отрезала она, подхватила глухо звякнувшие шайбы, поволокла в аппаратную.

Через несколько минут по натянутому полотну опять пошел снег.

То ли оттого, что болтовня секретарши его все-таки проняла, то ли просто сбита с настроения, но теперь происходящее на экране и впрямь казалось Зайцеву старомодной чепухой. Грим смешным, движения – обезьяньими, а то, что никто не разговаривает, – дурацким розыгрышем.

На полотне теперь показывали светскую сцену. Фигуры и волосатые пальмы в кадках. Он с блестящими напомаженными волосами хватал за руки ее. Она отворачивалась. А из-за фикусов глядела соперница. Сцена казалась Зайцеву смутно знакомой.

«Не мог же я видеть эту фильму?»

Зайцева отвлек шорох. Шорох бархатной портьеры по сю сторону реальности. Шепот. «Да агент ушел уже». – «Погодите». – «Ушел. Горшковская секретутка сказала... Да не будьте вы такой нервной». – «Вы сошли с ума: вон, кино лучше смотрите». – Хихиканье. «А если из аппаратной увидят?» – «Не увидят». – «А агент точно ушел?.. Ах, не так, постойте, я сама расстегну». – Опять хихиканье.

На экране ломали руки и пучили глаза, замирая в позах – иероглифах отчаяния, – даже не представляя, как скоро превратятся в посмешище.

Как скоро никому до них не будет никакого дела. Как скоро вся их жизнь – исчезнет. Останется только на пленке.

Камера еще не умела двигаться, поэтому Варя сама к ней подошла и встала – тихо, как привидение, как все они. Она гляделась, как в

зеркало, подрагивая черными от грима веками. А Зайцев сидел в зазеркалье.

Ему стало грустно. Он глядел на экран и старался не слушать кряхтение на креслах где-то у себя за спиной. Кряхтение, скрип толчками.

Зайцеву казалось, что давно уже глубокая ночь.

Он удивился, когда вышел из просмотрового зала, с киностудии, из проходной – и чуть не ослеп, зажмурился. Был не просто белый день, а солнечный. Редкий. Такой, когда весь Ленинград словно трепещет на ветерке, как вымпел на мачте.

В ушах так и стояла шелуха разговоров. «Господи, сколько же они все болтают». Видимо, кино слишком долго было немым – теперь застоявшаяся энергия должна была хлынуть на экран.

Гулять не хотелось. Зайцев быстро догнал трамвай. Запрыгнул и через полчаса был на Фонтанке.

Вошел и обнаружил, что вестибюль угрозыска пуст. Оба дежурных, видимо, отлучились. Возможно, всего на несколько секунд, набрать кипятка, и Зайцев проверять не стал. Взбежал по гулкой лестнице.

В коридоре тоже было пусто. Это уже было странно. Двери нараспашку. Зайцев прошел здание насквозь. Пересек внутренний двор. Ни души. Ему стало жутко, как во сне. Он толкнул дверь актового зала, куда снесли мебель из комнаты убитой актрисы. Нефедов поднял голову. Он сидел на полу, расставив колени и подперев кулаком лицо. Между ботинок была разложена Варина доска с перламутровыми белыми клетками и переливавшимися сине-зелеными черными. Все выглядело даже уютно, если не считать того, что на Нефедове был противогаз.

Стеклышки посмотрели серьезно, резиновый хобот снова склонился над клетками и фигурками.

– Нефедов, – взмолился Зайцев. – Пожалуйста, не надо.

Человеческого своеобразия сегодня было, пожалуй, уже чересчур.

– Учения химобороны, – спокойно пояснил тот.

– А где все?

– Проверка готовности к мгновенной эвакуации.

– А. А ты чего не эвакуировался?

– А мне как выполняющему секретное задание велели не покидать здание ввиду срочности порученного.

Зайцев узнал манеру речи Коптельцева.

– Вы наденьте маску, товарищ Зайцев, – он кивнул подбородком на маленькую зеленую сумочку, висевшую на рогатой Вариной вешалке. – Положено. Пока сирену отбоя не дадут.

Зайцев покорно расстегнул пуговку, расправил резину и с хлюпаньем натянул мешок на голову. Сел рядом с Нефедовым, точно так же согнув колени.

– Вы где были?

– На кинофабрике.

– Узнали чего интересное?

Голос Нефедова из-под резины звучал глухо. Зайцев махнул рукой: потом. Нефедов посидел, не решаясь возобновить свою одинокую игру. Предложил:

– Сыграть не хотите?

Зайцев смотрел на их собственное отражение в Варином трюмо: два слоника. На душе отчего-то кошки скребли.

– Не хочу, – честно признался он.

Глава 14



– У меня нет спичек.

– Да, Нефедов. Не повезло нам, некурящим. У меня тоже нет. А если бы и были, фига два я бы дал их ломать – за спичками еще в очереди потолкаться надо.

– Для дела же, – серьезно возразил Нефедов.

Зайцев снял кепку, шлепнул на стол. Начал рвать бумагу на узкие полоски. Нефедов наблюдал без выражения. Как будто это была привычная процедура. Зайцев быстро чирикал карандашом, свивал бумажки. Встряхнул кепку. Владимиры внутри шорохнулись.

– Давай, Нефедов. Рука судьбы.

На всегда сонном лице мелькнуло нечто, похожее на сомнение.

– Ерунда. Мы их сейчас поделим поровну, вернее, по справедливости, и быстро всех обежим, – сказал Зайцев.

Движение глаз на дверь. «А они?» – расшифровал Зайцев. Как объясним свое отсутствие?

– А они подумают, что мы квасим где-нибудь в пивнухе тут же на Фонтанке. Что можно поделывать с пьющим человеком? Вон, на мосье Гудкова посмотри. Ничего... Тяни.

Нефедов окунул глаза в кепку. Белые бумажные червячки. Владимирсы, так или иначе связанные с кино. Сунул пятерню.

* * *

Зайцев вышел из почтовой конторы. Поежилса: с неба капало.

Несмотря на его браваду насчет пивной, спокойно ему не было.

Еще раз окинул мысленным взглядом сделанное. Одобрил сам себя. Теперь последнее. Вынул из заднего кармана блокнот, выдрал страничку с адресом. Мелко изорвал, быстрее, чем дождик растворил выведенное химическим карандашом слово «Амторг». Одну часть конфетти выбросил в урну тут же.

Другую – на трамвайной остановке.

Погода одумалась, бросила солнечные глупости, стала обычной ленинградской погодой. Низко висело серое небо. Хотелось дышать жабрами. Трамвай точно вынырнул из реки: с него потоками бежала вода. Зайцев зацепился за поручень, втянул себя, толкаясь в отсыревшие спины, в пахнущие мокрой шерстью бока. Ворот пиджака противно охлаждал шею, кепка казалась разбухшей, как компресс. Кто-то в плотно сжатой толпе пробовал вяло лаяться: «Вы мне накапали!» – «Я не накапала!» В другой бы день горючий материал свары весело полыхнул, пламя быстро объяло вагон. Но сейчас ссора шипела, дымила, не брала отсыревших пассажиров: лица были сонные, размагниченные. Зайцеву казалось, что и мозги у него – какие-то размагниченные. Ни одной мысли. За окнами серая хмарь означала, что трамвай идет над Невой. Небо и вода были почти одного цвета.

Зайцев сошел на улице Красных Зорь и бегом под дождем припустил к кинофабрике.

На проходной пахло мокрыми старыми сапогами. Зайцев показал вахтеру удостоверение.

– Я вас помню, – с гордостью за себя оповестил тот. И Зайцев опять втянул голову в плечи, вываливаясь под дождь уже с другой

стороны поста. Среди деревьев низкими рукавами пробирался дым. Не горьковатый, дровяной, приятный. А вонючий.

Дворник с потемневшими от дождя плечами, в мокром фартуке, возил палкой в железной бочке как из-под горячего. Зайцев подошел, не вынимая рук из карманов. Дворник расслышал шаги за шумом дождя. Обернулся.

– Чего это жжешь, отец?

– А тебе чего... сынок.

Пререкаться сил не было. Зайцев показал удостоверение. Одновременно заглянул в бочку. Поблескивающие целлулоидные кольца, локоны. Дворник со своей палкой принимал позы святого Георгия, копьём поражающего змия.

– А, мильтон, значит, – нехотя начал он. – Склад освобождаем фильмовой. – И разговорился: – Вонища какая. И дождь проклятущий, как назло. Керосину плеснуть пришлось. А чего жечь? Каши не просят. Еще сто лет бы пролежали, никто б не вспомнил. Да Горшков пристебался: жги да жги. Место, дескать, на складе зря занимают. Идеологически вредные. Устаревшая продукция царских времен. «Замок Тамары» и прочая хрень.

Дворник поднял на палке выгнувшуюся ленту, ее тут же слизал огонь. Дворник нагнулся, поднял металлическую шайбу, открыл ее, прижимая к животу. Зайцеву почему-то захотелось сказать «стой».

Дворник вывалил шуршащее содержимое в бочку. Помешал палкой.

– Владимир Захарович? – быстро и четко уточнила секретарша. – В Гаграх он.

И снова наклонила над бумагами пробор.

Тон, манеры были бы уместны в канцелярии. «Для красивой бабы на кинофабрике как-то мимо темы».

– Хорошо сейчас, должно быть, в Гаграх, – попробовал разговорить ее Зайцев. – Для отпуска лучше не придумаешь. Я бы и сам не отказался. А вы?

Неумолимый змеиный взгляд. Прощедила:

– Он не в отпуске. Он на производстве картины.

И опять захлопнула лицо, как железное окошко.

Не только она. В прошлый визит на кинофабрику Зайцеву казалось, что его сразу затянуло в какой-то мотыльковый водоворот. Все бежали, все острились, все женщины были хорошенькими или старались такими быть, и даже те, кто ворчал или ругался, делали это с чувством – будто играя любимую роль. В воздухе висела золотистая пыль скорого успеха. А на лицах играла причастность к волшебству.

Коридоры и теперь не опустели. Но выглядели обычными конторскими коридорами. Фабрика, да, но с таким же успехом это могла быть фабрика «Красный Треугольник».

Царила атмосфера сданной врагу крепости.

Зайцев был озадачен. «И если даже я это заметил, значит, дело обстоит еще хуже».

Он помнил, как найти кабинет Горшкова. И ошибся в коридорах всего один раз. Куколка-секретарша покинула пост – двери были нараспашку, это усиливало ощущение разоренного муравейника. Не хватало только белого флага. Горшкова словно не от кого больше было охранять. Всё худшее уже случилось. «Арестовали?» – была у Зайцева первая мысль.

Слышно было, как по подоконнику сеет дождь.

Но за столом шевельнулась темная фигура. В дневных сумерках свет товарищ Горшков не зажигал.

– Вам кого? – хрипло спросил он. Зайцев подошел к столу и щелкнул выключателем. Наполнился светом зеленый абажур – сразу как бы настал вечер, и обрисовалось остальное: длинный выгнутый блик на бутылке. Пил Горшков из чайного стакана в подстаканнике.

– Товарищ из уголовного розыска, – констатировал Горшков. – Опять кино смотреть?

Взмахнул бутылкой, плеснулось почти на дне.

– Чаю?

– Давайте, – быстро согласился Зайцев. «Выпить не помешает – тут бы не простудиться».

Горшкову это понравилось. Он стукнул перед Зайцевым стакан, наклонил бутылку – себе (побольше), Зайцеву (поменьше).

– Молодец, не осуждаешь меня. Не осуждай.

Стакан Горшкова сверкнул донцем. Зайцев пригубил, обжег губы. Пить передумал: голова должна работать ясно.

– Не робей. Есть еще, – доверительно сообщил Горшков. Толкнул ногой, под столом глухо – полно – звякнуло. Стакан он держал за ушко, манерно, как барышня, отставив мизинец. Выхлоп у него уже был впечатляющий. Зайцев понял, что получить ответы нужно поскорее, пока товарищ Горшков еще вяжет лыко.

– Осуждать меня нечего. Обскакал нас товарищ Шумяцкий, обскакал. Он бы не обскакал. Если б не предатели вокруг. Нечестно обскакала Москва. Подставил нам товарищ Шумяцкий ножку.

– Обманул? – подкинул Зайцев.

– Меня не обманешь, – слегка обиделся Горшков. – Я сам кого хошь обману. Против лома нет приема, поговорку знаешь? Вот. Ломом он нас. Административным ресурсом. Увела Москва постановку нашу. Шумяцкий увел. Украл! Запиши себе, мильтон. У-крал. Сука. А что я могу сделать? Я Кирова наберу. А у Шумяцкого телефон к самому товарищу Сталину.

Горшков покачал головой:

– Обидно.

Зайцев тоже покачал головой. Хотя и не понимал еще, о чем речь.

– Я ведь готов был работать сообща, – сокрушался Горшков. – Из Москвы режиссер? Ладно! Везите, примем. Я Утесова уговорил. Он против был! А я уговорил... Притащили они этого своего, Иванова. Нет, Алексеева. Нет. Ну такая тоже фамилия распространенная... Александров, да. Александров. Ладно... А кто он такой? Никто! На побегушках у товарища Эйзенштейна. Я говорю: а опыт? А Москва мне: а он в Америке был. Холливуд, значит, нюхал.

Балаболлил Горшков, заплетаясь, мягкие губы с трудом слушались, даже щеки обвисли. Теперь он напоминал не треску, а карася.

– ...Не по-коммунистически поступил товарищ Шумяцкий. Подчистую же фабрику оголил! – разошелся Горшков. Растопырил пятерню: – Постановку забрал. Утесова забрал – раз! Лучших текстовиков забрал – два и три.

«Быстро», – подумал Зайцев.

– Это каких?

– Эрдмана и Масса.

«Ку-ку, Владимир. – Зайцев мгновенно передвинул фигуры на воображаемой доске. – Владимир Масс. Сценарист звуковой фильма. Варе не впервой использовать мужчин».

– Четыре – композитора. И штат нам оголил персоналом. Тут и пальцев не хватает.

– Даже на ногах? – поинтересовался Зайцев. Но Горшков уже погрузился в свой мир.

– За моей спиной интригу сплели.

«Ага, вот откуда ощущение, что все случилось быстро – маневр в тайне, браво», – признал Зайцев.

– ...предатели. Задрав хвост за ним побежали. Теперь там, в своих Гаграх, у них, значит, Холливуд. Наш ответ Чемберлену. Холливуду то есть. Предатели. Все предатели. Плевать им на кино. Им к пальмам охота. К морю. Хванчкару жрать. Шашлыки. Им Финский залив не море. Гагры им подавай. Предатели.

Ясно, теперь Зайцев полностью свел в его трепе концы с концами: ушлый московский товарищ Шумяцкий обошел ленинградскую фабрику, сплел и провернул интригу, забрал на свою фабрику фильму «Музыкальный магазин» – и теперь все они в Гаграх. Отвечают Чемберлену. То есть Холливуду... Все – и Владимиры.

То, что говорливые сторонники товарища Шумяцкого не проболтались и сплетенная им интрига хлестнула ленинградскую фабрику, полную болтунов всех мастей, так внезапно, Зайцеву даже понравилось. Он любил парадоксы.

Взгляд товарища Горшкова вдруг стал острым. Взял в фокус нетронутый стакан.

– Мильтон, ты что, слабак?

– Слабак, – согласился Зайцев. Больше Горшков ничем не мог ему помочь. Тяжелая рука быстро подцепила ушко подстаканника. Горшков ахнул себе в глотку.

– А я отомщу, – тяжело ворочая языком, пригрозил он.

– Сделаете в ответ «Музыкальный киоск»? Или «Музыкальный прилавок»? Или вот – еще шире: «Музыкальный рынок», – уже в дверях предложил Зайцев, ему и жаль было поверженного администратора – он не мог симпатизировать тем, кто променял родные балтийские сосны на пальмы и хванчкару, и в то же время хотелось поддать ногой. Зайцев не любил пьяных. Именно пьяные граждане толкали вверх статистику преступлений.

– Другим способом, – пообещал Горшков.

Встретились с Нефедовым, как и было уговорено, у служебного входа Мюзик-холла. Вахтер даже не поднял голову, когда они прошли мимо. Видимо, странные посетители досаждали здешним артистам меньше, чем актерам кино. Нефедов вымок насквозь.

– Знаю, он в Гаграх, – поздоровался Зайцев.

Мокрые пиджаки были расправлены на решетке вентиляции. Воздух дул не слишком теплый, но Зайцев заверил, что скоро все высохнет. Когда он беспризорничал, именно так они, шкеты, сушились.

– Когда же они вернутся?

Зайцев пожал плечами:

– Не скоро. Секретарша выболтала, что уехали с семьями. В Гаграх сейчас поди не льет.

– Столько с мебелью тянуть мы не сможем. Уж и так Коптельцев несколько раз заглядывал.

– Сам ножками приходил?

– Сам.

– М-да.

Тянуть и правда было нельзя.

– Идем.

– А пиджаки?

– Да они мокрые еще, оставь. Мы же не уходим никуда. Только поедим, я Коптельцеву позвоню – и вернемся.

Телефон они нашли по пути в столовку, в коридоре. Зайцев тут же поменял очередность дел. Снял трубку. Рядом висел плакатик «Больше двух минут служебный телефон не занимать». И череп со скрещенными костями.

– Не надо в это лезть, – тихо заговорил Нефедов.

Зайцев отмахнулся:

– Мы уже залезли.

Тот на миг обернулся, не пристроился ли кто позади. И снова:

– Выпрыгивать пора.

– Нефедов, спокойно. В городе наши. Ты что, «Двенадцать стульев» не читал? Роман товарищей Ильфа и Петрова, ну?

Нефедов отвернулся. Сказал в сторону:

– Не читал.

Зайцев снял трубку. Она молчала.

– Я тоже не читал. Сужу по сообщениям в периодической печати.
Зайцев несколько раз ударил по рычагу.

– А если и товарищ Коптельцев его не читал? – донимал Нефедов.
Зайцев шарахнул по коробке телефона. Услышал зуммер. Довольно обернулся к Нефедову:

– На это весь мой расчет.

Зайцев ждал соединения. Нефедов быстро ударил по рычагу.

– Ты что? – возмутился Зайцев. – Непроизвольная конвульсия?

Нефедов не обиделся.

– Не нравится мне эта идея.

– Какая именно?

Нефедов помолчал. Сказал:

– Мало ли что в книжках пишут.

– Хорошая идея, ты чего. Товарищ Петров, между прочим, служил в одесском угрозыске. Не дурак, значит.

И больше уже не слушал Нефедова. Обратился слухом в трубку. Соединили быстрее, чем он думал. Коптельцев сперва злился и требовал ответить, что они делали на кинофабрике, когда на складе... задание...

Зайцев отодвинул трубку от уха, дал тираде пролиться в воздух. А потом снова заговорил:

– А увезли киношники ее стул с собой. А еще комод. И столик ломберный, – добавил он для надежности.

– Как так? Как такое вышло?! Как допустили?!

– Это уж у товарищей в ГПУ выяснить надо. Когда они гарнитуры разобщали.

И нарочито простодушно добавил:

– Выяснить?

– Не надо, – предсказуемо буркнул Коптельцев. Зайцев знал, что возвращение уже растащенной по ордерам мебели популярности в ГПУ не снискало. И Коптельцев это тоже знал. Вбивать новые клинья не хотелось.

– Где эта мебель сейчас? Нашли?

– В Гаграх.

Пауза была такая, что можно было решить, разговор разъединили. Зайцев дал Коптельцеву подумать. А потом повесил трубку.

Нефедов молча смотрел в стену. Потом сказал:

– Он за мебелью отправит агентов на месте, в Гаграх. И они выяснят, что никаких стульев, комода и столика не существует.

– Пошли, – сказал Зайцев. – Пиджаки все равно еще мокрые.

– Куда?

– Обедать. У них тут потрясающая столовка, Нефедов. У нас в уголовке так не покормят!

Он видел, что Нефедов сомневается.

– Пошли! Товарищ Коптельцев мое предложение руки и сердца дня два обдумывать будет. А за два дня мы с тобой уйму всего успеем... Эх, хотел бы я стоять там за шторкой и смотреть, чей он номер наберет.

Столик заняли в углу. Агентская привычка: спина защищена, дверь просматривается. Выбрали по меню обед.

– А почему именно два дня?

– Ну, я так сказал. Навскидку. Не факт, что за два дня мы найдем Вариного убийцу. То есть даже факт, что не найдем. Но сделаем много.

– Я про Коптельцева.

– А. Тут все просто, – охотно стал объяснять Зайцев. Начало обеда привело его в благостное настроение. – Это мы с тобой пехота, простые мильтоны, рабочий день у нас начинается и заканчивается как попало. А не через семь часов, как у всех трудящихся. Оттого мыслим свободно. Независимо от сетки. А товарищ Коптельцев бюрократ. Кабинетная задница. Для него сегодня уже, считай, закончилось. Ему подумать надо. А завтра он будет действовать. И тоже не сразу. Подождет, когда подход к начальству удобнее.

– Даже если задница горит?

– Смотря насколько горит, конечно. Это верно. Но правило я тебе описал.

Подали второе.

Нефедов оглядывал в тарелке судака по-польски. Картофельные медали были выложены чешуей, политы маслом. Он осторожно нарушил вилкой их симметрию. Начал есть.

Зайцев на миг перестал работать ножом и вилкой.

– Нефедов, ты меня удивляешь.

Сам он быстро резал и отправлял в рот шницель, весело оглядывая немногочисленные занятые столики. К гарниру – пышному завитку пюре – Зайцев пока не притронулся.

– Начинаешь с неважного.

– Я самое лучшее оставляю на потом, – заявил Нефедов. – Чтоб запомнилось лучшее.

– А если потом не наступит никогда?

Нефедов буркнул что-то, жуя.

– Если вот сейчас земля налетит на небесную ось – и прервет наш пир? – не отставал Зайцев.

– Тогда я суну судака в карман и доем после.

– Мудро, – согласился Зайцев. – Слушай, а ты Утесова слушал?

Кивок.

– И как?

– Многое понравилось.

Зайцев вздохнул. С Нефедовым не потрепешься.

– Правильно, Нефедов. Когда я ем, я глух и нем. Помогаю пищеварению.

И наконец погрузил вилку в пышное пюре.

– А хорошо Теаджаз кормится. Почему я не играю на скрипке?

Поев, они еще посидели молча, откинувшись на стульях, приятно чувствуя сытость. Перед обоими стояли стаканы с компотом. Десерт.

– Вы чего ягодки не вылавливаете? – поддел Нефедов. – Вдруг небесная ось сорвется?

– Заразился от тебя оптимизмом, – благодушно ответил Зайцев. И оба одновременно подняли глаза – уловили остановившуюся у их стола тень.

Зайцев быстро отметил: вымокнуть товарищ не успел – только несколько темных точек темнели на плечах форменной гимнастерки. Выпорхнул из авто прямо в подъезд. Фуражка с голубым верхом тоже была суха. Позади маячили две морды – рядовые.

На лицо Нефедова Зайцев старался не смотреть.

– Встать спокойно. Пройти впереди меня.

Привычка обращаться ко всем как к неодушевленным предметам.

У Нефедова заалело ухо.

Безлично:

– Не дергаться. Без прыжков.

«Пиджаки так и остались там, на решетке», – подумал Зайцев.

Черный автомобиль ждал у служебного подъезда. Их не слишком учтиво затолкали внутрь. Пехотинцы сели у дверей. Отрезали подход.

– Без выкрутасов, – не поворачиваясь, произнес вожак.

Зайцев чувствовал с одной стороны ляжку Нефедова, с другой – ляжку конвоира. Вожак, шофер и два пехотинца. «Локтем снизу в челюсть». Он мысленно пробежал весь план. Голова пехотинца, клацнув зубами, откинется. Пара секунд, чтобы открыть ручку, вытолкнуть тело-препятствие – и ходу. Сообразит Нефедов, что делать?

Он наступил ботинком на ступню Нефедова. Тот не скосил глаза. Обычный, ничего не выражающий профиль. Разве только чуть бледнее обычного лицо и горит ухо: нервы на взводе. Зайцев надеялся: понял.

Он даже дышать стал тише. Ждал удобного мига.

Улиц, которые он хорошо знает: с проходными дворами, в которые можно ускользнуть, с чердаками, которые соединяют один дом с другим, со сквозными подвалами в целый квартал.

Но машина не сбавляла скорость. Шофер закладывал повороты так, что все четверо валились друг на друга то вправо, то влево. Оживленных перекрестков, где требовалось бы притормозить, где стоял бы постовой-регулирующий в белоснежной форме и каске, просто не было. Заводская часть города. Красный кирпич, трубы, заборы, заборы, заборы. Машина подскакивала на ухабах, приходилось пригибать голову, чтобы не боднуть потолок. В просветах между заборами мелькнула пустота – река. По ее положению Зайцев дорисовал остальное. Нашел их машину на воображаемой карте. Теперь он понимал направление. Они двигались в сторону Пулкова. Вон из города. «А там что?» Уже ясно стало, что это не арест. На миг Зайцева продрал мороз по коже. «Вывезут – хлопнут. Закопают». Поэтому двое конвоиров. Они не только конвоиры. Они будут копать.

Но ничего при этом не почувствовал. Даже удивления, что всё так быстро разрешилось.

Кончились заводы, кончились деревенского вида халупы. «Воронок» лихо свернул с дороги, запрыгал по траве. И Зайцев, подскочив на очередном ухабе, увидел поверх головы шофера оливкового цвета рыбины. Гибрид рыбины и недорогой этажерки.

«Воронок» остановился. Несколько деревянных сараев – еще не обветренных, дерево светлое, свежее. Голое поле. Сухие султанчики травы. Аэропорт «Шоссейная».

Зайцеву дали выпрыгнуть из машины. Вылез, получив тычок в спину, Нефедов.

Самолет стоял, подняв рыло, распластав двухэтажные крылья. Конвоир все пихал в спину – больше по привычке. Под ногами у Зайцева загремела металлическая лесенка.

В брюхе у рыбины оказалось два места: койка и откидное сиденье. Зайцев замешкался – тут же получил пинок. Следом вкатился Нефедов. Пилот обернулся на шум: два рыбьих глаза в кожаной оправе, голова в шлеме – как мяч.

– Сядьте, сядьте, – торопливо распорядился. – Один направо, один налево.

И тут же отвернулся к своим лампочкам и рычагам. Зайцев подвернул себе под зад металлическое сиденье. Нефедов сел на краешек койки.

Зайцев, как никогда, был благодарен ему за молчание. За обычное сонное выражение лица.

Нет ничего ужаснее, когда напарник пилит тебя, как разочарованная супруга.

В круглое окошко Зайцев увидел голубую фуражку – задранное лицо. Рыбина затарахтела. Затряслась. Авто и фуражка пропали. Трясти перестало. Вернее, потряхивание превратилось в плавное скольжение вверх и вниз, как по снегу. В окне – внизу – лежала теперь неровная мозаика в зеленых тонах. Понеслись рваные ватные клочья – облака. Становилось зябко.

Зайцев огляделся, притянул к себе толстую куртку – укрылся. Стал исчезать.

Почувствовал, как его двинули в бок – вернули в реальность. Открыл глаза.

Нефедов шевелил губами.

– А? Что?

– Вы что – спите?!

– Конечно! Я! Сплю! Нефедов!

Тот придвинул лицо. Зайцев добавил обычным голосом:

– И тебе оставлять вкусное напоследок не советую. Я не большой спец в самолетах. Это либо У-два, и тогда ближайшая посадка через триста-четырееста километров. Либо это Р-5.

Он снова накрыл подбородок. От куртки пахло чужим потом и машинным маслом, но запах успокаивал, казался мирным, человеческим. Опять толчок. Опять над ним висит лицо.

– А если! Эр! Пять?! Тогда?! Что?!

– Не ори. Так близко я слышу... Тогда мы летим в Гагры.

– Сядьте вы по сторонам, мать вашу!! – проорал сквозь шум мотора пилот.

И Зайцев закрыл глаза.

Глава 15



Зайцев проснулся, потому что заложило уши. Все тело разом тянуло по косой. Он понял, что самолет снижается. Посмотрел: в полумраке ворох ватных одежек, Нефедов последовал если и не его философии, то примеру: спал. Зайцев выпростал из-под тяжелой куртки ногу, пихнул Нефедова. Тот перевернулся разом, сел сразу прямо, как будто только притворился спящим. За круглым окошком была темнота с аккуратно прорезанным круглым отверстием. А потом луна провалилась и вместо нее косо встала лужица электрических огней.

– Интересно, где мы?

– Любой населенный пункт примерно в тысяче километров к югу от Ленинграда.

– Вы про тысячу прям знаете? – засомневался Нефедов.

– Без посадки эта машина берет от восьмиста до тысячи. Дозаправка.

Но он ошибся. Их просто перевели в другой самолет. И в этом новом они были уже не пленниками, которых затолкали тычками в спину. Они были загадочными товарищами из Ленинграда, про поездку которых ясно было только то, что она по линии ГПУ. А потому внушавшими опаску уже по факту, на всякий случай.

– Ух ты, – сказал Нефедов.

– Пирожки от бабушки, – прокомментировал Зайцев. В животе сразу заурчало. К ужину были приложены две мутноватые бутылки – одна с коричневой жидкостью, другая с прозрачной. «Водка и коньяк, – подумал Зайцев: – Вечная пара, как Толстой и Достоевский, как Уланова и Дудинская. Лучше бы воды налить догадались». Больше всего Зайцева обрадовали матрасики на койке и на сиденье. После первого перелета зад саднило.

– Ну все, Нефедов, теперь твоя очередь куковать на насесте. А я на полати полезу.

И тут оба услышали дыхание. Нефедов отпрыгнул, как кот. Зайцев почувствовал, как встали дыбом волоски на руке. Быстро подошел и одернул рогожу, под которой сипело. На него глянули маленькие глазки на пушистой, будто смеющейся ушастой харе. Передние и задние копытца были связаны.

– А, это Серега свекру поросю просил захватить, – сообщил за спиной пилот. Рыбьи очки были сдвинуты на лоб. Он подошел к поросю, звонко похлопал по мохнатой тугой ляжке. Почесал между волосатыми ушами.

– Меховой какой, – заметил Нефедов.

– А какой надо? – насмешливо отозвался летчик.

– Я думал, свињи голенькие.

– Жареные – да.

Нефедов молча переварил сведения.

– Можно дать ему печенье?

«Господи, Нефедов, пацан еще», – вдруг подумал Зайцев.

Летчик закрыл поросенка рогожей.

– Только пить не давайте, – добродушно предупредил. – Насыт. Наплачемся нюхать.

Летчик сел, сдвинул очки, повернув голову, застегнул под подбородком ремешок шлема. Они тоже сели: колени против колен. Пол под ногами задрожал.

Миски и судки звякнули, поехали на сторону. Жидкость в бутылках встала косо. Поросенок ворохнулся, всхрапнул.

Лужица огней снова встала косо – уже с другого бока. И провалилась вниз.

В коричневой бутылке оказался не коньяк, а холодный сладкий чай. Во второй – все-таки водка, ее задвинули под сиденье.

– Слушай, Нефедов, – жуя, начал Зайцев. – Пока ты там сладко спал, я вот что понял.

Нефедов метнул быстрый предостерегающий взгляд в сторону кабины.

– В шлеме? – отмахнулся Зайцев. – И мотор ревет.

Но тень беспокойства с лица Нефедова не ушла.

– Товарищ летчик! – крикнул Зайцев. Отложил кусок пирога – с луком и яйцом. Приподнялся, направил голос прямо в кожаную, перетянутую португеей спину: – Не хотите с нами, так сказать, хлобыстнуть?! А без нас?! У нас тут пузырь огненной воды. А мы баптисты. Пропадает.

Спина не шевельнулась.

– Эй! У руля! Водки хочешь?!!

Нет ответа. Зайцев сел на место.

– Видел?

– Может, приказ у него. На провокации не отвечать.

Зайцев только фыркнул.

– Так вот. Ведомство Каплуна и Запорожца, конечно, рвет тельняшку. Мемуар им до зарезу нужен. И вполне может быть, рассчитывают, что сгинем мы после этого без следа...

Нефедова еле заметно передернуло.

– ...Но Варю кокнули – не они.

Нефедов покосился на летчика. На поросенка.

– А чего тельняшку тогда рвать?

– Они нам всё как есть сами сказали: ищите рукопись. Думаю, ровно так и обстоит дело. Лишних людей в курс дела им вводить больно неохота. Может, знают Каплун и Запорожец, что там Варя про них понаписала. Может, только догадываются, и это хуже всего,

воображение поди богатое. Но кокнули – не они. Думаю, что и творчество свое она им не рекламировала. Даже больше скажу: может, из-за них и сидела все эти годы тихо, как мышь. Про рукопись ее они сами неприятным сюрпризом узнали – и скорее всего, через кого-нибудь из своих многочисленных осведомителей в мире искусств. Когда про мемуар начали болтать другие.

– Они, может, и не кокнули. А приказали.

– Нет, – поднял Зайцев руку с пирогом. – Ты жевать не забывай.

– Почему?

– Потому что пирог хороший.

– Почему не они?

– А потому, что если б Варю хлопнули по их распоряжению, то, во-первых, хлопнули бы ее гораздо раньше – и на их собственных основаниях: арестовали бы как шпионку, диверсантку или черта в ступе, и за это же расстреляли бы. Во-вторых, мы бы про это не узнали. Ты помнишь, мы уже закопались по уши, когда примчался казачок из ГПУ. Так вот. Если б устранение Вари санкционировал Каплун или Запорожец, там бы их молодцы уже в мебели копались – не мы. Мы бы, повторю, вообще никогда не узнали, что она убита. Как не знали, что она до сих пор жила в Ленинграде.

– А где тетрадки ее сейчас?

– В надежном месте.

Нефедов покачал головой.

– Не бойсь, Нефедов. Я у тебя тоже кой-чему научился.

– Сожгли?

Зайцев промолчал.

– Ничего вы не научились, – заметил Нефедов. А потом добавил: – Давайте рванем из Гагр этих?

– Куда? – удивился Зайцев.

– Вы направо, я налево, никогда они нас больше не отыщут. СССР большой.

«Верно. Вон, Алексей Александрович, любитель эрмитажных картин и нелюбитель живых людей, до сих пор в бегах – ищи свищи».

Первое дело^[2], в котором он, Зайцев, потерпел неудачу, не давало ему покоя: не то чтобы он часто вспоминал его, но и не забывал.

Он видел, что Нефедов старается прочесть ответ по его лицу. Как бы говорит: «А тогда в машине – что?» Не заставил его ждать:

– Это еще зачем? Пусть кто виноват, тот и бегаёт.
Нефедов отвернулся и стал кормить поросенка печеньем.

АЛМАЗ АЛМАЗОМ РЕЖЕТСЯ

И вот я в Москве. В Петрограде, конечно, тоже было холодно, он тоже выглядел разоренным и запущенным, но все-таки держал спину. Москва расхристалась вконец.

Но... Тася права. Теперь трудно сыскать покупателей на крупные вещи и при этом не загреметь в ЧК. Деньги, может, есть у многих. Но не многие гарантируют, что всё будет «дискрэ», она совершенно права.

Помогло давнее приятельство.

«Только держи с ними ухо остро, милочка», – предупредила Тася. Я притворилась душой: «Как ты можешь так говорить. Она же твоя сестра». Тася захохотала: «Именно поэтому!»

Ног я своих не чувствовала, так они замерзли в поезде. Постучала носками по стене дома, просто чтобы хотя бы в виде боли почувствовать какую-то жизнь в оочечневших тупых концах. «Ты мне еще постучи, стерва», – мимоходом бросил какой-то мужик.

Странно. А мне казалось, я оделась хорошо. Барышня-крестьянка. Один раз этот костюм уже спас мне жизнь. Но москвичей, видимо, не так легко провести, особенно при свете дня.

Привлекать внимание к себе в любом случае было опасно. Под мышками я зажимала свои лучшие бриллианты. Браслеты, широкие, как манжеты. И такое же кольцо, похожее на собачий ошейник. Тася сказала, что в их семье любят яркие камешки. Это у них, видимо, по линии московских миллионщиков Третьяковых. Не по линии петербургских лейб-медиков Боткиных; в боткинской линии все изысканно.

Тася язва: обреет кого хочешь ради красного словца. Не то что родную сестру. С одной стороны. С другой – их мать, наследница московских богачей и самая настоящая куку, заронила ядовитые семена сестринской вражды. Обожала старшую Шуру. И терпеть не могла младшую Тасю – от разочарования, видите ли: ждали сына. Может, поэтому у Таси такое ядовитое остроумие, и поэтому я не верю, что жизнь ее сложится счастливо; нелюбимые дети всегда,

всегда кончают плохо: сперва вырастают в несчастных взрослых, а потом с ними случается нечто совсем ужасное.

Обеих сестер еще девочками рисовал, кажется, модный Серов. Потом Тася вырвалась вперед. Шура слыла неудачницей. В Москве вертелась возле актеров и актрис на фабрике Ханжонкова. Иногда даже попадала в массовку. Насколько Тася была красива, настолько Шура – нет. А кино любит красивых, увы. Ханжонков не гнал ее: страшенькую внучку самого Третьякова. Как все мы грешные, он любил богатых и беззаботных. Вертелась бы она так и дальше. Да тут известные события. Ханжонков все бросил. А Шура стала фильмовой актрисой – когда настоящие разбежались окончательно. И вдруг превратилась во влиятельную советскую даму. Сейчас был момент шаткого равновесия. Тася и Шура были дружны ровно настолько, насколько вообще может нелюбимый ребенок дружить с любимым, неуспешная сестра – с успешной.

Во всяком случае, я очень на это надеялась.

После того как лопнула затея с Финляндией, мне подсказали, что в Москве можно получить совершенно официальное разрешение на выезд – допустим, в Берлин, Стокгольм или Париж. И лучше такое, которое не подразумевает досмотр багажа. Я же не собиралась нищенствовать – ни в Берлине, ни в Стокгольме, ни в Париже. Хотя меня и пугали, что европейские ювелирные рынки и так переполнены сейчас русскими драгоценностями.

Прикинула я так: браслеты уйдут на взятки, ожерелье – на дорожные расходы. Но для того и другого требовалось превратить камни в деньги.

Желательно не привлекая внимание ЧК.

От кривых московских улиц у меня сразу заболела голова и начало дергать глаз.

Найдя нужную парадную, я постояла в темноте, закрыв глаза, отдыхая от увиденного. Потом поднялась в квартиру. Шура жила в ней с фильмовым ассистентом фабрики Ханжонкова. Бездарным, как сапог. Как сама Шура. Но где теперь Ханжонков? Ходили слухи – в Крыму. Делал вид, что почти ничего не произошло, и даже гнал новые фильмы.

Тем временем его московскую кинофабрику захватили новые люди. Бал начали править такие, как Шура, как ее дружок.

На них теперь была вся моя надежда.

На стук открыла женщина. Я сказала, кто я, сказала: меня Тася направила. Никакого выражения. «Входите». Я прошла, гадая: Шура это или нет? С одной стороны, вроде похожа на Тасю, но кто их разберет, родственников. С другой – для «бомбейской чумы» как-то жирновата.

(...Этот кусок, кстати, потом надо будет переставить куда-нибудь в начало – если тут непонятно: фильмный народ прозвал Шуру «бомбейской чумой». Подозреваю, что главным делом за характер. Но также за худобу. В номерах с хореографией она напоминала танцующий скелет. И еще у нее были очень большие зубы. Так, по крайней мере, казалось оттого, что на лице почти не было плоти: скалится череп.)

«Не Шура, – пришла к выводу я. – Родственница».

На столе, накрытом посадской шалью, был сервирован чай. Женщина мне не предложила. Она сидела и с хлопаньем тянула. Хрупала сахаром или сухариками. И поглядывала на меня поверх блюда. «Приживалка, – предположила я. – Нет, прислуга». Богемным мотылькам всегда нужна прислуга. Мотыльки не чистят картошку, не вытирают пыль и не знают, как включается примус. Тем более если богема не настоящая, а из семьи миллионщиков. Недобрый взгляд окончательно меня убедил в правоте предположения. Прислуга ненавидит тех, кто стоит еще ниже по лестнице. Мой костюм на этот раз имел успех, можно сказать. Это меня позабавило. Бедная халда: каково ей будет, когда ее хозяйка поймет, кто пришел. Когда раскроет ей мое инкогнито... Возможно даже, эта дурища – моя поклонница!

Впрочем, ее внутренний мир меня мало занимал. Я сидела в тепле, и довольно. Ноги начали оттаивать и сразу же заболели. Я легонько постукивала ботинкой о ботинку, чтобы ускорить дело.

– А ты с Питера, значит?

Я кивнула.

– Студентка или как?

– Или как.

– Занозистая ты больно.

Неприятельница мне была ни к чему.

– Я не занозистая, – спокойно объяснила я. – Просто замерзла, устала и хочу в уборную.

– В сортир? Ты так и скажи: в сортир.

Баба отставила блюдо.

– Пошли.

Она, в сущности, была добрая. Просто очень тупая.

«Мавруша, кто там?» – раздался голос. Мавра! Кухарка Мавра. Блеск. Расскажу Тасе. Я уже предвкушала, как это сделаю, какая мина будет у Таси. Мавра отогнула портьеру с бомбошками. Дама в кресле тоже не была «бомбейской чумой». Не тот возраст. За Маврой сомкнулись портьеры. Поняв, что посещение уборной отложено, в туалет я захотела истерически.

– Кто вы?

– Обратиться к Александре Сергеевне мне посоветовала Анастасия Сергеевна, и она же дала ваш адрес, я...

– Я знаю, кто вы. Показывайте.

Рукой я нырнула за ворот, под сорочку, под лямку лифа. Браслеты царапались, как твердые насекомые. Глаза дамы жадно блеснули. Или в них просто отразились бриллиантовые искры.

– Ах, какая прелесть... Да что вы мнетесь. Присядьте.

Жест руки, на пальцах – блеск перстней. «Интересно, а они кому принадлежали раньше?» Сев, я тут же сплела ноги. Стало правда легче.

А дама, как назло, не торопилась. Она прикладывала браслеты себе то к ушам, то ко лбу, то на макушку – и приговаривала, поводя плечом:

– Горит в алмазах голова.

Мне, правда, казалась уместнее басня «Мартышка и очки». Я заранее помирала со смеху, воображая Тасины комментарии. «Если только свижусь», – вдруг пришло мне на ум. Глаза у дамы уже разгорелись почище бриллиантов. Она крепко сидела на крючке. А вот возьму и поеду прямо из Москвы – через Польшу в Берлин. В мягком. Первым классом. Хватит холода, хватит неуютта, хватит мучений. К черту. И переодеваться не стану – сразу на вокзал. Тем более что все мои цацки защиты в этот костюм барышни-крестьянки. В Париже переоденусь.

Та все поворачивалась у зеркала, как избушка на курьих ножках.

– Не знаю... хватит ли у меня средств...

Сердце у меня упало.

– Ах, я знаю, кто даст настоящую цену!

Сердце воспарило.

В трубку она сказала только одно: «Приезжай немедленно». И опять расцвела улыбкой.

Пока неизвестная покупательница тряслась то ли в трамвае, то ли в персональном авто (а я надеялась на последнее), мадам развлекала меня последними сплетнями в жанре «ужасы большевизма».

– Вы Валентину Павловну не знали? Нет? Чудная дама. Выбросилась из окна. Вообразите, ей в квартиру вселили монтера, рабочего с выводком детей, красноармейца с женой, какую-то старую ведьму, которая мочилась в коридоре. А саму Валентину Павловну как бывшую домовладелицу запихнули в чулан – ни окна, ничего, одиночная камера. Это называется «уплотнение». Вы там у себя в Питере еще не слышали о таком? Слышали?.. Ах, какая прелесть, какая прелесть. Если эти камни отсюда выбрать, то хватит на несколько гарнитуров: колечко и сережки. Прелесть, правда?

Видимо, я заболела. Меня начало морозить. К горлу подкатывала тошнота. Дама казалась вороной, которая клюет мой собственный труп. Все они уже казались мне такими воронами: и дама, и Шура «бомбейская чума», и ее неизвестный мне фильм-ассистент, который загреб себе фабрику Ханжонкова, все. Клюют и приговаривают: прелесть, да?

«Уж не грохнусь ли я в обморок? – забеспокоилась я: – Только этого не хватало». Больше всего я боялась, что это всё у меня не философское, а самая настоящая «испанка». Или вообще тиф.

А та все куковала:

– Вы Орловых не знаете? Ну эти, графы которые или в близком родстве с графами. Там у них черт ногу в генеалогических деревьях сломит – кто граф, кто не граф. Орловы, в общем. Мать – в девичестве Сухотина. Но вам ничего не говорит, нет? Девочки у них две прелестные еще – Любочка и Нонночка. Любочку прочили в пианистки. Но не в этом суть. Она себе все равно испортила уже руки. Мороз, тяжести таскать, знаете: девочка – а руки-крюки. Мне приятельница рассказывала. Девочки возили молоко на продажу. Ходили по квартирам.

Она сделала паузу, вытаращила глаза, понизила голос – повторила:

– Ходили по квартирам.

Полагалось ответить.

«...а если испанка?» – была единственная мысль. Я постаралась поддержать разговор – покупательница все-таки:

– Ходили, ну и что. Молочники все так делают. Даже бывшие графини.

– Милочка, да вы овечка невинная!

Всплеснула, сверкнула перстнями дама. И зашептала:

– Приятельница моя говорит, не молоком они там торговали. То есть молоком. Но не только.

– Не собирайте сплетен, – неожиданно для себя самой огрызнулась я. Вышло вяло.

– Не сплетни! Факт. Моя приятельница – святой человек, она врать не станет. Она сама видела. Сосед у нее – старый инженер. Продался новой власти, так что не бедствует. Большой любитель насчет молоденьких. Так вот. Старшая якобы в квартире у него дольше положенного оставалась. Младшую приятельница моя на лестнице встретила: Любочка, говорит, ты чего? А тут и старшая вышла. Такая тихая, смятая, еле ножки переставляет. А в ручке – деньги. Представляете? Девочки Орловы! В родстве с Толстыми. Сперва старшую развратил, а потом и младшая по квартирам старичков вот таких пошла. Путем Сонечки, так сказать, Мармеладовой. Есть-то что-то надо. Вот жизнь... До чего большевики страну довели!

Мне хотелось сказать: что ж знакомая ваша, такая святая, не навешала старому козлу по рогам – раз девочки и жалко? А у самой деньги-то на бриллиантики откуда? Но сил у меня не было даже открыть рот.

А тут и вторая дама подросла. В одной руке ридикюль, в другой – мешочек на веревочке. Она куковать и прыгать не стала. Она глянула на браслеты быстро, а на меня – медленно. Сверху вниз. Прощупала и оценила каждую тряпочку. Я почти видела, как в голове у нее крутятся рычаги, как у кассового аппарата. Щелкают в черепе счеты. И отложила ридикюль. Браслеты даже не померяла. Кивнула только. Развязала мешочек.

– Вот. На.

Подала мне сверток. Никогда еще я не видела деньги, завернутыми в пованивавшую газету. Увесистый сверточек. Свобода.

А меня уже напутствовали:

– Пошла отсюда вон.

Я не успела удивиться такой внезапной нелюбезности, как моя приятельница Мавра железной рукой выкинула меня из квартиры. Хлопнула дверь.

Мне захотелось увидеть деньги. Я еще разворачивала газету. Но уже все поняла. По тому, как слой бумаги стал тоньше, маслянистее. Поняла. Но не хотела верить – в Париж хотела. Отогнула край. На меня глянул рыбий глаз. Селедка. Два браслета. Две селедки.

Я положила рыбу на пол. Постучала в дверь. Потом ногой.

Распахнулась.

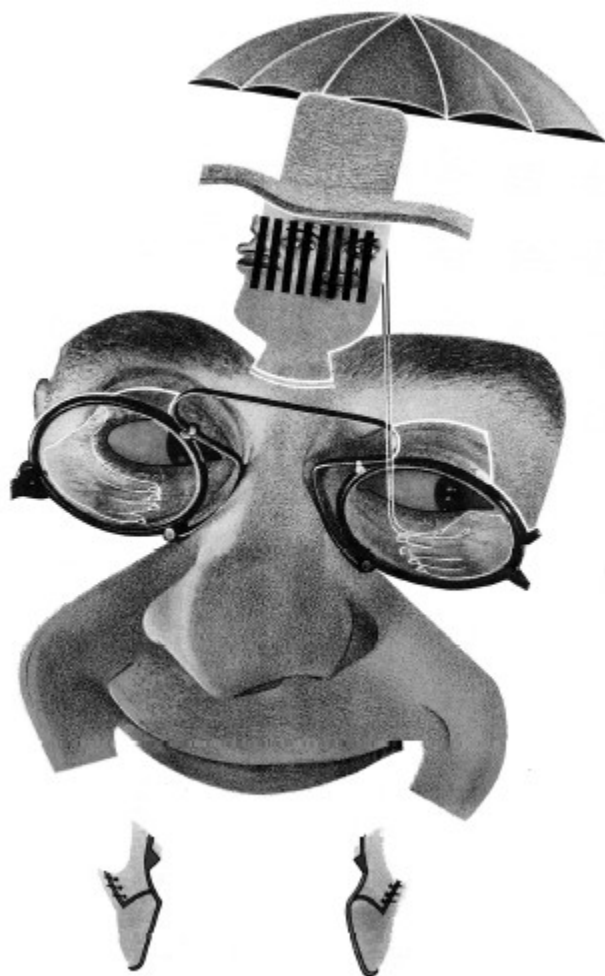
– Пошла вон, швабра, – повторила дама. – А то в ЧК сдам.

Догадка озарила меня как молния. Костюм барышни-крестьянки. Это он. Он меня подвел! Конечно же. Ай да московские барыни! Мне было жаль браслетов. Хорошие камни, хорошая работа. Прощай, Берлин и Париж. Но все-таки это было смешно. Я прислонилась к двери и захохотала.

По крайней мере, один практический урок я из этого знакомства извлекла. Нет, не то, что судят по одежке, – это я и так знала. И нет, не то, что семья – это ад, – слишком старо. Уплотнение. Вот это ново. Вот это мне действительно не понравилось. Что ж, можно счесть это своевременным предупреждением, которое стоило своей цены: двух бриллиантовых браслетов. Мне пришла в голову идея, прямо там на площадке я вспомнила одиннадцать приятных мне людей, в которых могла быть уверена настолько, насколько один человек может быть вообще уверен в другом. Решила заняться этим планом сразу по возвращении домой. Мой дом – моя крепость. Ее пора оборонять. Я была готова.

Потом заглянула вниз на лестницу, не идет ли кто. И все-таки сходила в туалет.

Глава 16



Летчик выкурил еще одну папиросу. Над взлетной полосой дрожал воздух. Грелись деревянные стрекозы с пропеллерами. Ветерок лениво пытался поставить горизонтально полосатый колпак, да всё бросал, и тот хлопал по шесту. Зайцев, прищурившись, посмотрел на каленое небо. На сочную темную зелень. Не видно было ни крестьянской лошадки в телеге. Ни арбы с волами. Ни просто мужика в сапогах и с мешком. Короче, свекра. У ног троих лежал мохнатый поросенок. Никто его не встречал.

– Да, Нефедов, пиджак здесь точно не нужен... Что ж, товарищ авиатор, свекра-то этого вашего...

– Не моего, а Серегоиного.

– До второго пришествия Серегиного свекра теперь ждать?

– Никак нет, – доложил летчик. Затушил сигарету об каблук. – Ждать мне никак нельзя. Приказ сразу обратно.

– Эй!

Но летчик уже полез в свою машину.

– А с ним что делать?! – заорал Зайцев, не ожидавший такого коварства.

– Ветчину! – крикнул, надвигая очки, летчик.

– Жалко, – сказал Нефедов. – Симпатичный.

Зайцев метнул на него негодующий взгляд.

Поросенок наслаждался солнечным теплом на своей шкуре. Ресницы его казались золотыми. Нефедов сел на корточки, почесал ему уши.

– Хороший, – приговаривал он. – Хороший.

– Ты, Нефедов, поосторожнее.

Рука остановилась.

– Сперва ты с ним курортную дружбу заведешь, а потом всю оставшуюся жизнь колбасу и свиные отбивные есть не сможешь. Не говоря о ветчине.

Рука снова взялась за твердые треугольники:

– Я их и так не ем. Зарплата не та.

Чихнул мотор. Брызнул русалочий смех. Зайцев и Нефедов обернулись. Открытое авто. «Курортники». Две красавицы показывали недавно завитые головы и золотистые плечи: одна с переднего сиденья, другая – с заднего. За рулем полнолицый лысеющий господин, которого Зайцев тотчас отнес к административному племени, определил на глаз положение в пищевой цепочке начальников и подчиненных.

Полнолицый погудел в рожок. Зайцев и Нефедов не шевельнулись. Зайцев отметил красные влажные губы, веселый взгляд жуира: «Наверняка ящик с вином в авто, у нимфы под задницей». Тот приподнялся, как жокей на стремянах, показал отлично скроенный шелковый костюм. Погудел уже стоя. Захохотал:

– Ну и рожи. Граждане! Ваши взгляды превращают вино в уксус.

«Точно – под сиденьем ящик», – с мрачным удовлетворением убедился Зайцев.

– На жаре пить – вредно для здоровья, – отозвался. – В немолодом возрасте особенно.

Нимфы хихикнули. Впрочем, не похоже было, что веселый господин чем-либо страдал. Поманил Зайцева и Нефедова пальцем: цып-цып. «Ах ты скотина», – подумал Зайцев.

– Ну что стоите, как неродные? Этого зверя мерзавец Сергей прислал? Тащите его сюда. У нас съемочный день из-за него никак начаться не может.

Зайцев и Нефедов переглянулись.

– Это свёкр, – пробормотал Нефедов, как всегда без выражения, что означало у него крайнюю степень изумления.

– Это Холливуд, – поправил Зайцев.

Он взял поросенка под мышки. Красногубый господин руководил погрузкой:

– Кидайте его на пол. Только нежно! Нежно!

– Ой, хорошенький какой. Можно погладить?

Девушка на переднем сиденье изогнулась назад так, что в вырез шелкового платья виден был край загара. Зайцев слегка смутился, отвернулся.

– Не укусит?

Тянула руку с алыми ноготками.

– А еще говорят «грязный, как свинья». Несправедливо же. Правда несправедливо? – трещала вторая. – Гляди какой – розовый, чистенький. Хорошенький, прелесть!

– А почему он у вас волосатый, как грузин?

Девушка на заднем сиденье подобрала юбки. Поджала босоножки.

– А как его зовут? – не отставала первая. – Это он или она?

Зайцев сделал вид, что не расслышал. Поросяенок взбрыкнул в воздухе толстенькими ляжками, раздвоенными розовыми копытцами. Зайцев осторожно опустил его на разогретый пол.

– А багаж? – нетерпеливо поинтересовался толстогубый.

– Какой багаж?

– Ну что там надо... – нетерпеливо хлопнул дверцей тот, – ... плетка, ошейник, хлыст, откуда мне знать, как вы свиней дрессируете.

Ядовитый ответ Зайцев успел поймать – и проглотить: дальноточными глазами он заметил на шоссе черную мушку. Автомобиль. Он, казалось, вынюхивал себе дорогу к аэропорту.

– Без ошейника работаем, – важно изрек Зайцев, хватаясь рукой за нагретую кожаную спинку сиденья. – По методу товарища Тянь-Шанского. Садись, Нефедов.

Он не знал никакого метода, вспомнил косматую бронзовую голову в садике у Адмиралтейства – бюст знаменитого путешественника. Упал задом на кожаную подушку. Она обожгла сквозь брюки. Нефедов невозмутимо сел подле шелковой душистой нимфы: рука у поросенка на темени. Свин, видно, почувствовал в нем защиту – приник к ногам, как собака.

– Не слышал такого, – бросил администратор. И утопил педаль газа, так что всех – четверых пассажиров и животное – слегка отбросило назад, а под сиденьем брякнули бутылки.

Зайцеву казалось, что само облако пыли за ними пахнет парфюмом. Он не возражал. Нефедов сидел так, будто тропические деревья, запах южного моря, соседка с загорелыми плечами давно ему надоели.

Открытый автомобиль вырулил на шоссе, когда черный с ним поравнялся. Не поворачиваясь, Зайцев пересчитал внутри фуражки с голубым верхом. Заметил пятно пота под мышкой – один из гэпэушников держался рукой за кожаную петлю: машину подбрасывало на съезде.

Гэпэушники устали на девиц в открытом авто. Остальные пассажиры – мужского пола – были для них пустым местом. Авто одолело съезд и двинуло к самолетным сараям, к взлетной полосе.

Мощная машина, рыча, подняла их по дороге к белоснежной вилле. А широкая мраморная лестница – к дверям. Там их передали бойкому младшему администратору в парусиновых туфлях, футболке и летних брюках. Волосы у него блестели то ли от недавнего купания, то ли от бриолина. Прошли залу с роялем, всю в тяжелых портьерах. Потом опять были лестницы. Нефедов нес поросенка на руках.

Комната оказалась под самой крышей.

Зайцев пустил воду в душе. Выключил. Посмотрел, как поросенок пьет из таза.

– Ты гляди, Нефедов. Прямо гостиница «Астория» у них тут.

Зайцев осмотрел фотографии в овальных рамках: гимназистки с косами, выпуск студентов-медиков.

– Это не гостиница, – подал голос Нефедов.

– А ты наблюдательный.

Дом был жилым и богатым. Но чей этот дом, почему дом и где его жильцы – внятных предположений у самого Зайцева не было.

Нефедов уже сбегал на кухню, и теперь поросенок хрупал морковь. Тянул из рук Нефедова ломтики сырой картошки, рвал капустные листья.

– Откуда ты знаешь, чем свиней кормят? – любопытствовал Зайцев.

– Предположил.

– По принципу гарнира к шницелю? Шучу. Надеюсь, ты прав. Не хватало еще, чтобы свинюк издох. На него теперь вся наша надежда. Он наш, можно сказать, покровитель.

Зайцев посмотрел в окно. Вилла стояла высоко. Курчавый зеленый склон стоял почти отвесно. Было много неба и моря. Как Наташе Ростовской, тотчас хотелось взять себя под коленки и полететь. Зайцев задернул занавеску. Меньше света в комнате не стало.

– Что ж теперь делать?

– А что?

Зайцев утащил из миски морковку и сунул себе в рот. Повалился в плетеное кресло. Оно под ним крякнуло.

– Они сразу поймут, что никакие мы не дрессировщики.

– Это как, интересно?

– А с ним что делать? – Нефедов погладил спину, покрытую жестким волосом.

– Ничего.

– А трюки?

Зайцев пожал плечами:

– Вчера делал, сегодня нет. Что с него взять? Свинья. Кто знает, что у него там на уме. Сплошные рефлексy головного мозга.

Нефедов покачал головой:

– Всё ради слесаря какого-то?

– А что тебя смущает? Что невинные люди не сплошь в белых одеждах, с крыльями и лирами?

Нефедов опять покачал головой. Но Зайцев уже научился расшифровывать его спартанскую мимику. На этот раз кивок говорил «идите вы к черту» в значении «ладно, будь по-вашему».

Без стука дверь распахнулась.

– Вы что ж творите? – всплеснула женщина руками. У Зайцева мелькнуло: «Быстро они». Но от того, что их разоблачили так скоро, почувствовал не досаду, а уважение – мелких жуликов он и сам не любил.

– Вы зачем его кормите? – бросилась она к опустевшей миске. – И пить уже дали! – увидела она тазик в открытую дверь.

«Люди дураки», – тут же разочаровался Зайцев.

– Вы что, гражданка, животному артисту необходимо подкрепиться и восстановить силы после перелета, – важно возразил он.

– А съемка? Вас что, не предупредили? Ну тогда это не ваша вина, – смягчилась она. – А товарища Аистова. Но все равно! Как он у вас работать сейчас будет?! Вы соображаете, сколько стоит государству каждый простой киногруппы на выезде?

– Прямо сейчас?! – воскликнул Зайцев. – «Черт».

– Он готов, – одновременно сказал Нефедов. И Зайцев, и энергичная гражданка посмотрели на него.

В парадной зале было одновременнолюдно и пусто. Люди бурлили, оттесненные по краям. В центре, в пустоте, стоял накрытый стол. Ниспадали края тяжелой скатерти. Мерцал хрусталь. Даже издалека Зайцеву видно было, что фарфор дорогой, французский. Домашний фарфор. Обласканный руками. Приборы на длинных ногах – вероятно, камеры – были похожи на железных богомолов. Мощные лампы накаляли и без того жаркий воздух.

– Где животное? – раздался позади голос. И Зайцев почтительно отступил. – Товарищ дрессировщик, вы готовы?

Нефедов вскинул на него сонные глаза. Поросенка он так и прижимал к себе.

– А вы что, не главный? Я думала, вы главный? Товарищ, что же вы меня в заблуждение вводите? – рассердилась администратор. И к Нефедову: – Животное готово?

– Он готов.

– Товарищ дрессировщик, я в сторонке постою, можно? – заискивающе отпросился Зайцев.

– Не нажрись только, – строго предупредил Нефедов. – Еще раз – и уволю.

«Вот гад», – развеселился Зайцев, заверил шефа, что ничего такого не повторится. Успел заметить, как администратор вскинула брови-ниточки. И ввинтился в беспорядочное с виду людское движение. Оно тут же подхватило, унесло его.

Дом производил впечатление одновременно обитаемого и нет. Быт был поставлен на широкую ногу – причем давно, еще до революции. И стоял прочно. «Неужели кто-то до сих пор живет так?» – Зайцеву стало немного грустно. Грустно и чуть-чуть жутковато. Казалось, жильцы, настоящие жильцы, вышли только что. Висела на вешалке панама. В уголке на кушетке Зайцев заметил брошенное вязанье.

Зайцев растворил дверь наугад. От зеркала-трельяжа отпрянула, обернулась блондинка. Шкодливая прическа с двумя косичками странно сочеталась с холеным холодным дамским лицом. Больше он – пробормотав «извините» – не успел разглядеть.

Сунулся в другую. На миг ему стало страшно – подумал, что сошел с ума. Что галлюцинация. Тяжело пыхтели, мотали бородами козы. Сыпались горошки. Дорогой паркет трещал под копытами. Теперь уже отшатнулся Зайцев. И чуть на сбил в коридоре молодого человека. Помог подобрать с пола круглые очки. Проверил стекла. Подал.

– Целы. Извините.

Тот торопливо заправил за уши тонкие проволочные дуги.

– Ничего. Попробуйте еще – в следующий раз, может, получится.

«Да, точно. Я и забыл уже. Все всё время острят». Отвечать остротой было так же изнурительно, как на жаре играть в теннис – отбивать крученую подачу. И Зайцев выбрал вариант мильтона-простачка – доброго, но глуповатого.

– Что это у вас – козы там?

– Это не козы. Это члены съемочной бригады. Между прочим, они больше похожи на людей, чем некоторые двуногие.

– Чудной дом какой.

– Дача.

Зайцев похлопал глазами.

– Такие хоромы?!

Молодой человек убедился в своем интеллектуальном превосходстве – и сразу подобрел.

– Дача профессора Федорова. Шумяцкий его уболтал пустить группу поснимать.

– Хорошо живут профессора. Самому, что ли, в университет пойти?

– Поздно спохватились. Дачу товарищу Федорову царь отвалил. Профессор наш лейб-медиком царским был.

– И дачу такую сохранил? – уже неподдельно изумился Зайцев. Куда логичнее было бы найти бывшего лейб-медика в комнатке его же бывшей – уплотненной соседями – квартиры. Или за границей.

Юноша пожал плечами:

– Светило. Европейское, мировое, не знаю какое. А главное, еще уролог. У начальства, хоть царского, хоть советского, всегда проблемы с урологией, – подмигнул. – Чем выше должность – тем внизу проблем больше. Песочек сыплется.

Подобрел, но не слишком.

– Ишь. А сам профессор где?

– В Ленинграде! – крикнул молодой человек уже на бегу. Резво прибавил ход. С проблемами урологии он явно был знаком только понаслышке. Зайцев не стал его догонять.

Нет, про Метель он наверняка и не слышал. Говорить надо было с кем-нибудь постарше. И не таким бодрым.

Выбирать было легко – на этой даче все так или иначе принадлежали миру кино.

Подходящего Зайцев нашел у розовой клумбы. Немолодой гражданин курил, приземлив зад на каменную ограду. Плохое начало – Зайцев не курил. Сизый дым запутывался в венчике волос. Лысина была красна – обгорела. Ленинградец, сразу определил Зайцев: в его родном городе жители не умели обращаться с солнцем, не были готовы к тому, что оно появляется, а тем более жжет. Хорошее начало.

Зайцев присел рядом.

– Поганое солнце. Сил больше нет, – раздраженно пробормотал он.

– Ничего не поделать, – махнул папиросой собеседник. – Это все Москва. Свет им подавай: Холливуд.

– Товарищ Шумяцкий – энтузиаст, – осторожно бросил первый камень Зайцев.

– Шумяцкий? Авантюрист. А не энтузиаст. Он, знаете, к кино какое отношение имеет? Ни-ка-кого! А туда же. Руководит. Холливуд здесь строит. Вот она. Москва. Нахальство, и больше ничего... Я, между прочим, в ателье у самого Дранкова начинал, и то не лезу... А вы случайно не москвич? – подозрительно отстранился он.

– Нет-нет, что вы! – возмутился Зайцев, как будто тот спросил: «Не сифилис у вас?»

– Нет? Только я вас на фабрике что-то на нашей не видел, – расстояние стало больше, плечи прямее.

– Так я и не с фабрики. Я из цирка.

«О, господи, – пронеслось в голове. – И моя фамилия – Нефедов».

– Дрессировщик.

– Животные – это хорошо. Это лучше, чем люди.

Разговор взял опасный курс – белых пятен в зайцевской легенде было больше, чем на арктической карте.

– Вот раньше в Питере у нас были актрисы, – вздохнул Зайцев. – Метель вы застали?

Тот прикрыл глаза, кивнул сквозь дым.

– Лично видели? – изобразил удивление Зайцев.

– Что с нею жизнь сделала, – покачалась красная лысина. Он умолк. Слышно было, как трещат в сухой траве кузнечики. Аромат роз был одуряюще-жирным. Бабочка, казалось, осторожно пудрила им лепестки.

– А что? – осторожно подтолкнул Зайцев. – Разве она в Ленинграде?

Кивок.

– Я думал, за границей она давно.

– За границей, видать, своих актрис хватает... Шаталась по фабрике недавно. Не сразу и признал. Кошка облезлая, да и только. А какая была бельфам. Фаталь!

Зайцев не успел задать вопрос.

– Разве бы раньше она до такого поведения унизилась? Довела жизнь бабу. Довела. И все равно лучше ее нет. Хоть и облезлая. На нынешних актрисок посмотри? Коровницы.

– До чего довела? – подтолкнул Зайцев.

– Визжала – как сто облезлых кошек. Скандал. Где манера? Где тон? Где стиль? Пшик. Все облетело. Я и не знал, что у нее, оказывается, такой противный голос.

– А чего ж визжала?

– А кто их разберет. Я выскочил. А она от уборной Утесова несется... Рот дыркой. Глаза – во! Вопит... Актрисы. Система нервная. У вас что, не так? Наездницы, акробатки, кто там у вас в цирке еще из дамского персонала?

– Нет, – искренне вздохнул Зайцев, не любивший врать по мелочам, вспомнил комсомольского работника угрозыска товарища Розанову. – У нас не так... Слушайте, на самом деле, я ведь Владимира ищу.

– Володьку-то? – полетел в розовые кусты окуроч.

Зайцев с легкой тошнотой человека, опаздывающего на поезд – уже видящего этот самый поезд на парах, ждал канители: которого Володьку? Володек, мол, как грязи. Но ответ был быстрым и точным.

– А чего его искать. Вон окно его.

Он показал на высокое окно, скорее даже стеклянную дверь, выходящую на террасу.

– Только он сейчас на съемке. Он всегда на площадке. На всякий военный случай.

Зайцев сначала даже подумал, что ошибся дверью. Но поскольку даже на очень шикарной даче не могло быть две парадных залы, то не оставалось ничего другого, как признать: это та самая зала, где он всего час назад оставил Нефедова.

Разгром был полный.

Шторы были скомканы на полу, как вражеские знамена. Торчали мебельные обломки. Под ногами хрустели осколки. В исцарапанный паркет втоптаны навозные лепешки. Острый запах спирта и мочи сверлил ноздри.

И никого. Только женщина что-то быстро писала, оперев на колено картонную папку и быстро облизывая чернильный карандаш. Язык у нее уже был черничного цвета, как у китайской собаки.

– Товарищ, вам кого?

Зайцев не ответил. Руины поразили его.

– Съемка окончена... Ку-ку. Эй! Окончена съемка, говорю.

– Слушайте, – не удержался Зайцев. – А профессор Федоров... э-э-э... не огорчится?

– Он не знает, – она облизнула пальцы, перемахнула на другую сторону лист в скоросшивателе.

– А когда узнает?

– Он не знает, что ему уже все равно.

– Как это? Умер?

– Дачу его национализируют.

«Вот тебе и светило».

Карандаш мешал ей говорить, она заткнула его за ухо.

– Это же ненормально. Одна семья в таком дворце. Мы в Советском Союзе, а не в Америке. Здесь будет дом отдыха трудящихся. А им это вот... – Она обвела рукой осколки посуды, обрывки скатерти, обломки мебели. – ...Ни к чему. Пусть хоть напоследок послужит искусству кино.

Женщина выхватила из-за уха карандаш, поплюнула, снова принялась за свою смету.

«Нет. Это не Холливуд», – подумал он.

– А где Володька? – наобум забросил он.

– У себя, – с карандашом во рту ответила женщина. – Все у себя.

– И дрессировщик?

– И дрессировщик. Только Леонид Осипович в библиотеке. Голос ее строго зазвенел: – Предупреждаю на тот случай, если вы захотите его побеспокоить, не вздумайте: он запретил. Отдыхает.

Библиотека и впрямь располагала к отдыху. Зайцев блаженно ощутил прохладу и полумрак. Глазные яблоки словно опустили в воду.

Утесов сидел в профессорском кресле. Зеленоватый свет от абажура. Зайцев не сразу понял, что здесь не так. Потом сообразил: на Утесове то ли был желтоватый паричок, то ли волосы с их последней встречи покрасили пергидролем.

От этой прически «à la muzhik» еще глубже проступили морщины у крупного рта. Лицо сразу стало казаться каким-то особенно потасканным, немного бабьим.

Скрестив задранные ноги, так что видны были носки и волосатая голень, Утесов лениво листал толстый том. «Иллюстрированное

издание «Мужчина и женщина», – саркастично предположил Зайцев. Но ошибся. На коленях у артиста лежал ботанический атлас.

– Изучаю карманный справочник вегетарианца, – тут же подал голос Утесов. – Привет родной милиции.

Веселье у него было профессиональным. Но заразительным, признал Зайцев.

Сел в кресло напротив.

– Вы зачем соврали? – приступил он без обиняков.

– По какому случаю? Я, видите ли, часто вру, – обезоруживающе объяснил Утесов, в глазах веселый плутоватый блеск. – Вернее, приукрашиваю действительность, потому что если не расцветивать ее блестками фантазии, то что еще нам останется? Серое рубище будней, в котором...

– Про Варю Метель. Будто не знали ее.

– Все знают Варю Метель. Кроме слепоглухих, которые никогда не были в кино.

– Вы писали ей письмо.

– Я?

– Упомянутые вами события относятся к 22-му году.

– Ах, это. Нет, на такие письма Леля отвечает. Супружница моя навек.

– Зачем же тогда Варя к вам приходила?

– Она ко мне не приходила.

– И скандал не устраивала?

– Скандал? Какой такой? За Варей шлейф скандалов.

– Вам. На фабрике.

– Ах это!.. Это разве скандал? Тю! Вы настоящего скандала не видели. За скандалом вы в Одессу поезжайте, там вам покажут, что такое скандал. А то разве скандал? То так. Писк дамский. И больше ничего. К тому же она не мне его устроила.

– А кому?

– Почем мне знать. Выглянул для порядка. Чтобы ленинградцем себя показать. В Одессе я бы даже и со стула ради такого не встал. Тю. Дамочка какая-то. Откуда мне знать кто. Знаете, сколько дамского полу на кинофабрике шастает? На прослушивание или так. Пока сторожа в будке не посадили, еще больше терлось. Старые, молодые, кривые, косые, в смысле с косами...

– Среди них, конечно, не было Елизаветы Тиме. Зачем? Драгоценности свои она уже отдала.

Грубо, но сработало.

Утесов захлопнул том. Опустил на пол. Медленно наклонился, медленно разогнулся. Видно было, что он призывает все свое остроумие – тщетно: мысли брызнули в разные стороны, как сухой горох. И глупо уже тянуть время, он сам это понял.

– Сплетни это все. И вообще... Не в этом дело.

– Нет?

Утесов только отмахнулся.

– Да что вы цепляетесь за бабьи наветы и преданья старины. Дело в том, что я Метель действительно тогда не видел.

Он изобразил пальцем вензель:

– Тогда – не тогда... а тогда, когда вы спрашиваете: на фабрике.

– Ага. Она не клянчила у вас по знакомству роль в «Музыкальном магазине», вы ей не отказали, она не...

На этот раз его перебил Утесов:

– Отказал? Да она до меня даже не дошла. Вот ей-богу – не вру. Она завопила, как сто женщин с Привоза. Я выглянул. А она уже развернулась и побежала. Я ничего не видел. Володька только пальцем у виска покрутил.

Зайцев постарался, чтобы голос его не выдал:

– Зачем же она приходила, если не за ролью?

Тот пожал плечами. Перегнулся и, не вставая из кресла, подтянул к себе с пола книгу, водрузил на колени. Раскрыл.

– Если хотите мое мнение, роль тут ни при чем.

– Я не хочу ваше мнение, – раздраженно перебил Зайцев.

Утесов огрызнулся:

– Зачем же вы сюда притащились? На шашлыки?

– За фактами.

Руки Утесова переворачивали страницы книги, точно хозяин забыл отключить механизм.

– Факты! Да с чего вы взяли, что ей от меня что-то было нужно?.. О, гляньте, ромашка аптечная. А где аптека? – Но шутка зашипела и не взорвалась, не распустилась в небе сотней искр. Утесов чуть не рвал страницы, перемахивая. Словно надеялся в книге найти подсказку и завершить неприятный разговор.

– Не что-то. Роль, – все нажимал и нажимал Зайцев.

Утесов перестал листать. Недоверие его было непритворным.

– Товарищ агент!.. Да ведь женской роли в моей фильме – с гулькин нос. Во! Вся роль.

Утесов отмерил на кончике указательного пальца.

– А Варя... Ей только высший класс подавай. Гулькин нос она не возьмет. Фемина. Стерва, конечно. Но фемина... – мечтательно повторил он. Повернул к Зайцеву книгу, раскрытую на изображении алого пышного цветка: – ...и розан... Вы лучше у нее самой спросите, зачем она на фабрику приходила.

Зайцев нахмурился.

«Точно. Он не знает, что Варя мертва. Никто не знает. Почти». Взгляд остановился. Утесов воспринял это как гримасу недоверия.

– Это моя фильма, товарищ агент, я уже вам сказал. И не хвастаюсь, а даю самый железный факт. Вы что, «Музыкальный магазин» не видели? Публика идет на меня. Вот вам факт. А роль... Москва на эту роль все равно притащила какую-то свою старую кобылу.

– «Бомбейскую чуму»?

Утесов вскинул брови.

– А что, «бомбейская чума» тоже эту роль хотела? Держите меня семеро. А ей зачем?.. Воображаю, как бы она гремела костями в каскадах. Старая вешалка. Вот ведь комиссия. Выбирай не хочу – между старой вешалкой и старой кобылой – Шурочкой и Любочкой.

Заметно было, что он успокоился. Опять весело затрещал:

– Вы, кстати, в курсе? Они эту Любку свою для роли еще и переукрасили. Масть кляче поменяли. Как цыганы-конокрады с Привоза. Осталось только вставить Любке молодые зубы и отскоблить копыта. Вы не подумайте, товарищ агент, что я близко к сердцу принимаю. Я фактами делюсь, а вообще, я само спокойствие. Потому что роль женская, я ж вам уже сказал, с гулькин нос. Фильму мою эта Любка все равно не испортит. С такой...

Вдруг губы его растянулись в улыбке, книга выпала, глаза превратились в любезные щелочки. А за ними Зайцев, сидевший близко, заметил метнувшийся ужас. Зайцев обернулся. В прямоугольнике солнечного света – широкоплечая мужская фигура.

* * *

– Вот знаешь, Нефедов, а правда: красавец. Я таких, прямо скажу, даже среди брачных аферистов не встречал... А типчик этот одесский, весь скукожился сразу. Прямо пустая оболочка в кресле от него одна осталась... Ну ты слушаешь? Или над свиньей своей трясешься? Да не помрет он. Не помрет.

Нефедов и в самом деле поправлял покрывало – поросенку было устроено гнездо из подушек.

– Что, много коньяка ему дали? – посочувствовал Зайцев.

– Тарелку глубокою. Чтоб его водить начало. Чтоб куролесить он начал. Смешнее так для сцены, видите ли.

– Ты погоди.

– ...Вот ведь свиньи. Люди эти. Как можно над животным издеваться?

– Свиньи, – не стал спорить Зайцев, вспомнив разгромленную дачу профессора Федорова. – Наш поросенок среди них – самый приличный.

Нефедов подоткнул покрывало.

– Наоборот, лучше снимите, – посоветовал Зайцев – И воды приготовь. Сушняк лечить. А Самойлов еще леденцы сладкие трескает в таких случаях – говорит, помогает... Так вот, Аполлон этот московский, Александров его фамилия, режиссер он у них или вроде того, начальство, короче. У него здесь с актрисулей роман страстный закрутился. И нарисовался этот Александров, как раз когда дурак откровенничать мне про актрис начал. Вернее, поливать их распоследними словами. В том числе и зазнобу режиссера этого. Она, мол, и страшная, и старая, и кобыла, а лезет молоденьких играть.

– Правда страшная?

– Не знаю, Нефедов, – чистосердечно признался Зайцев, вспомнив увиденную мельком даму с косичками. – Не разбираюсь я в таких дамах. Отполированная, как целлулоидный пупс. Как такую обнять? Да вообще, не в этом же дело. Хоть какая пусть она. Сам товарищ Утесов, можно подумать, юный и прекрасный. Тем не менее он дельную мысль высказал... Ты куда?

– Пойду в столовой сахару возьму. Посмотрите, пока он спит. Не уходите, пока не вернусь, – почти жалобно попросил он.

Зайцев хотел рявкнуть: «Ты офонарел совсем? Есть у нас время?»

Но вместо этого пообещал:

– Посмотрю.

Глава 17



Приученный питерским летом к карикатуре южных зим, Зайцев не умел обращаться с жарой. Он поступил так, как сделал бы в Ленинграде: открыл окно. По глазам полоснуло солнце. Показалось, что в лицо сунули горячим утюгом. Нечто подобное с ним и в самом деле однажды было: когда брали на Невской заставе Сеню Кислого и его ребят, один схватил чугунный, наполненный углями утюг и махнул – Зайцеву повезло, только ресницы опалило. Но ощущение вот этой волны жара на коже запомнилось. И еще осталось удивление – вспомнил Зайцев: бандит попался франтоватый – наглаживал, значит, махры свои.

Зайцев закрыл окно. Дышать в комнате было нечем, как в сухой финской бане. Снова открыл. На этот раз задернул шторы. В полумраке казалось не так жарко.

Мимходом наклонился над спящим поросенком. Убедился, что мохнатые бока вздымаются. Зайцев открыл дверь. Потянуло сквозняком. Штора заколыхалась. «Вот так лучше всего», – остался доволен он. С ветерком влетела брань: «На хрен – пошел».

Зайцев выглянул в окно. Черный прямоугольник крыши, блики на капоте. У ворот стоял черный автомобиль. Зайцев отшатнулся за занавеску. Дверцы нараспашку. К ним от ворот виллы откатился брюнет, на ходу надевая голубую фуражку. Сверху Зайцеву не разглядеть было, сколько в машине пехоты. В том, что бежавший бежал на хрен, Зайцев не сомневался. Фуражки были местные. А киногруппа на вилле – столичной. В бесклассовом советском обществе провинциальные гэдэушники и столичные киношники соотносились примерно как сельские конюхи и члены палаты лордов.

Яснее некуда. Местные гэдэушники подкатили принять ленинградских мильтонов. Вилла процедила, что ленинградских мильтонов здесь нет. Что правда. Есть – дрессировщики. Селяне попытались настаивать. Были посланы.

Зайцев прикинул: время на отступление, время на взбучку у местного начальства, время на созвон местного начальства с Москвой или Ленинградом. Время на повторные действия.

Успеть можно еще очень многое.

В том числе, как предложил Нефедов, раствориться на просторах Советского Союза. «Усыновим поросенка, поступим в цирк». Но Зайцев уже чувствовал, как в крови закипают бодрящие пузырьки. Как вылетает из сознания все неважное. Как ясными становятся мысли. Какими четкими и экономными – движения.

У Крачкина была любимая теория: сыщики и бандиты вообще-то из одного текста – нравится ходить по краю. Только жизненный выбор разный.

Неужели в этом все дело?

«Тогда почему я вопреки всему сейчас – счастлив?»

Зайцев задрал штанину. Летом, с его легкой одеждой, оружие переводилось на ногу. Проверил пистолет. Взял поросенка на руки. Тот всхрапнул, испустив запах перегара, но не проснулся. «Слово

джентльмена прежде всего». Неслышно – вместе с дуновением сквозняка – вышел в коридор. От горячего мохнатого тельца рубашка сразу промокла на груди. Пот катился по спине. Киношники перезаряжали следующую смену – на вилле было пусто. Зайцев неслышно спустился по лестнице. Остановился на площадке этажа. Куда? Он услышал приглушенное дверями, стеной женское пение. Женщина, вероятно, шила, гладила или убирала – и напевала себе, чтобы ловчее спорилась работа. Зайцев пошел на голос. Неплохой голос, отметил. Остановился у массивной двери. Постучал и тут же открыл.

Женщина не шила, не гладила и не убирала.

Она была совершенно голой. Если не считать густого слоя крема на лице, полотенца на голове. И брила ноги. На кровати было расправлено узкое шелковое платье с блестками.

Она вытаращилась на Зайцева.

«Сейчас заорет. Только этого не хватало».

Зайцев старался говорить спокойно – как с самоубийцей, уже перебросившим одну ногу через ограду Троицкого моста – любимого моста питерских самоубийц: вид там уж больно дышит вечностью, как будто не Нева внизу, а Стикс.

– Знаете, – начал он, – вот вы сейчас завизжите, а зачем? Хуже уже не будет. Я уже всё увидел. Могу только сказать, что вы ослепительно красивы. Это самые яркие мгновения моей жизни. Вдобавок у вас на лице крем и я никогда не узнаю, кто вы.

«А у меня на руках пьяный поросенок. Жизнь прекрасна», – подумал он.

Женщина остолбенело поглядела. Как будто узнавая его. А потом захохотала. Отложила бритву, вытерла с ноги пену, подтянула к себе, проскользнула в шелковый халат, спокойно подпоясалась. Подошла. Верно – узнала. Но не его. Погладила поросенка:

– Да, он молодец. Настоящий артист. А вот бык нас подвел. Красавец. А работать – ни в какую.

Она забрала поросенка себе на руки.

– Он жертва искусства.

Вопросительный взгляд. Но сама догадалась:

– А, вы про коньяк. Ну, это ничего. От похмелья еще никто не умирал.

– С этим поспорю. Я – умирал. Потом, правда, воскресал.

Ее серо-голубые глаза весело блеснули.

– Вы просто не умеете лечиться. Вначале нужно выпить воды.

Желательно с лимонным соком и медом. Держите его пока.

Зайцев принял поросенка.

– Или нет, – поправилась она. – Сюда.

Она смахнула с кровати платье.

– Кладите... Не на платье, – засмеялась. – На кровать.

«Кретин, – обругал себя Зайцев. – Но уж больно голос у нее красивый. И ноги».

Женщина распахнула дверцы щегольского бюро, очевидно, принадлежавшего супруге лейб-медика. Вынула, стукнула на стол бутылку минеральной воды, блюдце с половинкой лимона.

– Нет, – сказала сама себе. – Его же коньяком напоили.

Убрала. Рука ее вынырнула с другой бутылкой: мутноватой.

– Коньяк лучше всего лечить рассолом.

Бутыль с рассолом была наполовину пуста, отметил Зайцев.

– И супом-хаш, – попробовал поддержать тему он.

– А вот это неправильно! – живо возразила женщина. – Жирно, тяжело. Организму нужны соли, сахар, жидкость. А не нагрузка. Ну да легкий ужин я ему придумаю.

Она села перед зеркалом. Отщипнула кусок ваты.

– Ну, теперь ступайте, – подмигнула в зазеркалье. – Мне пора снимать с моего инкогнито крем.

Зайцев заметил сперва отражение, а потом и сам бокал с липким винным пятнышком на дне. Стоял на столике у зеркала. Объясняет похмельные знания. «Она, похоже, в этом деле спец».

– Вы сняли с моей души камень. Я уже думал ехать к ветеринару.

– Мы, актеры, одно большое братство, – весело заверила она. – Своих не бросаем.

«Это точно из какой-нибудь роли», – но Зайцев тут же ей простил. Симпатичная баба.

– А поросенок где? – первым делом спросил на лестнице Нефедов. Карманы у него оттопыривались.

Зайцев глянул на часы, висевшие над входом. Время еще есть. Продержаться бы это время.

– Свинья ты, Нефедов... В надежных женских руках.
– Или надежные, или женские.
– С такой философией не видать тебе семейного стола. Холостяком помрешь. Да, пока ты пасся на кухне, по нашу душу архангелы в голубых нимбах.
Никакого выражения. Зайцев знал, что Нефедов думает: бежим.
– Успеем, – ответил наконец он.
– У нас здесь всего два Владимира, – обрадовался Зайцев. – Скромный осветитель и текстовик-остряк. По одному на нос. Кого берешь?
– Берите текстовика себе.
– Все, Нефедов, вперед. Сбор отряда в разгромленном зале. Он теперь вряд ли кому-то нужен... А потом – делаем отсюда ноги.

* * *

Чего Зайцев не ожидал, так это что вечер наступит так быстро. Как будто потянули за шнур – и опустилась синяя бархатная штора. Все предметы в комнате стали темно-синими и непохожими на себя, все бумаги – голубыми. А скоро станут черными.

Он не мог зажечь лампу – свет сразу заметят мотыльки и обслуга.

В комнате у текстовика Зайцеву хватило одного взгляда, чтобы определить: здесь живут двое мужчин. Кровать под балдахином явно была профессорской. В пару к ней была втиснута обычная, с железными шарами. Валялись носки, теннисные туфли, трубки, купальные трусы. Зайцев увидел на столе – отстегнутые с руки часы с ремешком: фосфорические деления, стрелки показывали пальчиками – сюда и туда. Время еще есть. Над хаосом, словно пара из Ноева ковчега на гору Арарат, были подняты две пишущие машинки. Одна накрыта чехлом. Из другой торчал листок с начатым текстом.

Зайцев подошел. Приблизил в полумраке лицо. Стал читать. Брови его поползли вверх. Зайцев схватил листок, крутанул рычаг машинки.

– Шутки у Кольки воруете?

Зайцев отпрянул. Обернулся. Листок нырнул в карман.

Из-под балдахина вынырнула голова.

– Александров прислал, – нашелся Зайцев.

– Господи ты боже мой. Опять? А сейчас-то что? Уж и так рожки да ножки от «Магазина» остались. Что ему не нравится? Ахиня еще не полная?

Зайцев ничего не понял. Да и выбросил тут же из головы. С кровати на него глядел хозяин второй – зачехленной – пишмашинки, а значит, Масс. Владимир Масс. Зайцев метнул наживку:

– Привет вам, кстати. Из Ленинграда. От Вари.

Напряг зрение, напряг слух.

– О, – обрадовался тот. – Она, значит, уже не сердится? Ну хорошо. Я рад! Это же просто шутка была.

Если в темнеющем воздухе Зайцев и не мог уверенно судить по лицу, по глазам, казавшимся просто двумя темными пятнами, то голос не оставлял сомнений. Веселый голос именинника на празднике жизни. Этот Владимир знать не знал, что Варя мертва.

– Не со зла он, честное слово. Просто хотел сделать старушке приятное. Как-то не сообразили, что ей не сто лет в обед. Сам не пойму: почему мы думали, что она уже совсем старуха? Ну не важно! Я рад, что она тоже посмеялась и забыла. Вы и от меня привет ей передайте. Передадите?

В дверь забарабанили. И раньше, чем Зайцев успел броситься, зажать Владимиру рот, тот молодецкато съехал со своего ложа – звонко спросил:

– Кто там?

– Конь в пальто. Открыть.

Масс бросил на Зайцева вопросительный взгляд. Голос за дверью был хамский, тон требовательный. Безличный.

Зайцев не стал ни пускаться в разговоры, ни раздумывать. В несколько шагов добежал до окна, вскочил на низкий подоконник и прыгнул вниз. Перебежал террасу, схватился за еще не остывшие перила. Хорошенько оттолкнулся. И черный сад проглотил его.

Тихо не было. Цикады трещали так, что Зайцев почти не слышал собственных шагов. Но все равно сошел с гравия – бежал по траве. Перешел на шаг. Дал дыханию восстановиться. «А сейчас сколько времени?» – прикидывал он, упершись руками в колени. Пощупал в кармане – листок на месте. «Сейчас про это не думать», – приказал себе Зайцев. Снял ботинок, носок, сунул листок, снова обулся.

Огляделся. Оранжевый электрический свет из окон виллы сюда не доходил. На мясистых листьях блестели лунные блики. В просветах между кустами фосфорически мерцало море – одновременно близкое и далекое. Зайцев посмотрел вверх. Звезды большие – куда больше северных. И даже больше Вариных бриллиантов. Ничего, кроме звезд.

Хрустнул неуверенный шаг. Еще один. Зайцев замер. Тихо убрал ветку. Зеленовато-голубое – белое – платье посверкивало блестками. Зелено-голубые – пергидрольные – волосы были уложены волнами в вечернюю прическу. Губы в темноте казались темно-синими от помады. Женщина сделала еще шаг, подвернулся каблук, чуть не упала, машинально пытаюсь поймать рукой опору. Выровнялась.

Она была уже совершенно пьяна.

Она была сейчас его единственной надеждой.

Нефедов не смылся, когда мог. Теперь Зайцев не мог бросить его. Но шаги – уверенные, быстрые, шаги хозяина жизни – заставили его снова отпрянуть за куст.

– Вот вы где. По всему дому ГПУ шастает... Боже, – гневно зашипел голос, и Зайцев узнал недавнего Аполлона. – Опять?.. Что вы вытворяете?! Где бутылка? Отдайте.

Она ответила совсем тихо, но уверенно. Коса, похоже, нашла на камень.

– Нет, не личное, – ответил Аполлон.

Ее ответа Зайцев опять не услышал. Слух его в потрескивании, похрустывании, пощелкивании, шорохах южной ночи уловил тоненькое пение мотора. Высоко-высоко. Зайцев поднял голову. Три маленьких рубина ползли по черному бархату среди бриллиантов. Казались с каждой минутой крупнее, бриллианты подле них – все меньше. Зайцев проследил движение.

А голоса все ссорились. Им было не до звуков в небе, не до огоньков.

– И мне наплевать. Я вам скажу, на что мне не наплевать. На вас. Пока вы часть этой картины. Вы понимаете, что второй попытки не будет? Я делаю вашу роль главной. Я вырезаю этого дурака Утёсова, которому все еще кажется, что он тут первая скрипка. Зачем? Чтобы вы надувались каждый вечер?

– Надо же как-то пройти через день. Петать, танцевать. Забыть. А потом уснуть, – донесся ее голос.

– И пройдете. И споете. И забудете. И уснете. Дайте это сюда...
Дайте.

Шорох короткой борьбы. Она негромко пьяно ахнула.

И через несколько секунд в кустах затрещало. Снаряд достиг цели. Но звука разбитого стекла не было – ветки смягчили падение. В вечернее тропическое благоухание неприятно врезался спиртовой запах.

Зайцев не разобрал, что она промямлила.

– Нет, не ваше, – перебил Аполлон. – И знаете почему? Я скажу. Я сегодня отсмотрел снятое – свет не помог, на крупных планах у вас между бровей видна морщина. Масс и Эрдман могут хоть как кромсать и переписывать сценарий – без крупных планов все равно не обойтись. Правду хотите? Вот вам – правда. Вам много лет. Для актрисы – много. Вы будете терять вашу внешность с каждым годом. С каждым месяцем – если продолжите пить. Еще хотите пить? Пейте. Не буду вам мешать. Пейте!

Шаги захрустели. Зайцев ждал всхлипываний. Не услышал. Если перед ним только что были Пигмалион и Галатя, то Пигмалион работал жестко: бил молотком, тесал. Но и мрамор не плакал.

Зайцев вышел из-за куста.

Он надеялся только, что актриса не настолько пьяна – дойдет до разгромленной залы. Ничего не перепутает. И что она – добра.

Он, впрочем, уже знал, что она добра.

– Вы говорите забыть, – заговорила она глухо. Думая, что продолжает беседу со своим Пигмалионом. – Смеетесь? Забыть, что ходишь, двигаешься, поешь – и всё это в самой пасти у людоеда?.. Зачем здесь ГПУ?

– Не за вами, это я знаю точно, – подал голос Зайцев.

Она обернулась. Подняла выщипанные ниточкой брови.

Пляж был галечный. Море шуршало, заглядывая под каждый камень, разочарованно отступало. А потом словно говорило: нет, я все-таки найду! И опять принималось переворачивать голыши.

Море, небо – и никого.

Зайцев чувствовал, как быстро – быстро, но мерно бьется сердце.

Он мерно дышал. Он отсчитывал время.

Вот она дошла. И он мысленно дошел вместе с ней. Вот объясняет про дорожку в саду, про калитку в стене. И ступени вниз, к пляжу. Хорошо, что Нефедов никогда ничему не удивляется – время на это можно не тратить.

Калитка заперта. Но что Нефедову стоит забраться по дереву, перепрыгнуть на забор?

Оттуда Зайцев мысленно перепрыгнул вместе с ним: таким же обезьяньим манером – вниз, по другую сторону.

Жаль, не видно, благополучно ли спрыгнул. Не подвернул ли лодыжку на крутом склоне. Дальше мысль Зайцева уже не могла пробиться за темноту.

Время шло.

Зайцев смотрел, как тает, надувается и снова тает белая шипящая линия. Глаза уже привыкли к ночи настолько, что могли разглядеть в воздухе темный провал среди лунных бликов. Сложить темноту в тупорылый силуэт.

Что, если она пришла – а в разгромленной зале никого? Только фарфоровые руины.

В темноте мигнул карманный фонарик. Раз-другой.

Что, если она присела на подоконник – ждать? И уснула пьяным сном. Свесив завитую голову на усыпанное блестками плечо и неуклюже подвернув ногу в замшевой туфельке.

Что, если она – до сих пор спит.

Время вышло.

Зайцев пошел вдоль шипящих белых волн – навстречу мигающему свету фонарика. Вот уже у тупорылого силуэта появились объем, тяжесть. Вот уже видны были лопасти пропеллеров, заклепки на раскинутых твердых крыльях. Вот уже можно было прочесть на боку самолета надпись:

АМТОРГ.

А потом Зайцев разглядел черную, быстро бегущую фигурку.

Глава 18



Нефедов вернул листок, выхваченный Зайцевым из пишмашинки.

– Так ведь он ей это уже писал. Про отпечаток чашки кофе на столе. Ровно такими же словами.

– Нефедов, про отпечаток запомнил даже я. Но хотел свериться с истинным специалистом-мнемотехником.

Нефедов чуть шевельнул уголком рта. Взгляд остался таким же сонным. «Улыбается! – отметил Зайцев. – Все любят комплименты, все».

– Ты дальше, дальше читай!

– «Милая Лина»? – тихо проговорил Нефедов. – Ничего не понимаю.

– Я тоже сперва ничего не понял. Знавал я одного Юру. А домашние звали его Тука... Юра – Тука. Варя – Лина. Мало ли. Но вот соседи знали ее давно – и никто из них Линой, сколько мы ни беседовали, Варю что-то не называл. А тут уж поэт этот, невольник чести, все сам и объяснил. Что это было.

– Что же?

– Шутка.

Зайцев осторожно свернул лист по сгибам. Важная улика.

– Шутка?

– Эти два болвана принялись строчить ей письма от имени тайного поклонника. Очень веселились, когда Варя клюнула. Они ведь думали, что она совсем уже древняя старуха – и тут запела соловьиной на току. Обхохочешься. И тут уже вдохновение их припустило...

По движению тени Зайцев понял, что Нефедов покачал головой. Само лицо было в полумраке.

– Хорошенькая шутка.

– Мы сами ведь тоже так поначалу думали. Ты, Нефедов, вспомни: «Старуху кокнули, старуху кокнули». Понятная ошибка. Ничего не поделаешь. Технический прогресс идет быстрее, чем люди живут. Вон, кино разговаривает уже через аппараты Шорина. А через лет пять, не знаю, начнет цвета и запахи передавать. А через десять – полную иллюзию того, что ты в той же комнате сидишь, что и фильмовые люди. Встать можно будет, с другой стороны все осмотреть. Под диван им заглянуть.

– Не в этом дело. Мне она по писанине своей показалась довольно прожженной. Чтобы соловьиной вот так запросто распевать.

– Ну не сразу, – потянул Зайцев. – Не запросто. Сначала наверняка выбрасывала эти цидульки. Потом разок ответила. Может, отшила даже. Потом другой раз ответила. А потом втянулась. Женский пол он такой. Долгой осады не выдерживает. Особенно если слог, прямо скажем, искрометный... Но это мы все по ответам самой Вари установим. Как и что там происходило. Уж точно гоголи наши письма ее с собой в Гагры не прихватили. Наведаемся в ленинградские хоромы их, пошукаем.

– А им-то зачем по башке Варю тюкать?

– Я разве говорю «они тюкнули»?

– А кто?

Зайцев ухмыльнулся, и ему тотчас стало совестно за эту улыбку. Он понадеялся, что в темноте Нефедов не заметил. Так и вышло. Зайцев спокойно ответил:

– Может, у них мы Варины ответные письма найдем, а в письмах – интересные факты. Варя-то не шутила, когда писала этому своему так сказать тайному поклоннику.

А сам думал: «Должен же быть ответ зачем. Почему. Так изуверски. Так страшно безжалостно. Без паники, без нервов. Так решительно. Должна же быть веская причина».

– Ладно, то шутка, – нехотя согласился Нефедов. – А это тогда что? – кивнул на карман, в который Зайцев убрал письмо, вынутое из пишмашинки.

– Это-то? Социалистическое экономное хозяйство. Николай этот, видать, так остался доволен заходом, что теперь шпарит то же самое уже совершенно реальной барышне. Лине. Не пропадать же добру... Правильно делает: хорошие мысли часто в голову не ходят. Хорошие девушки встречаются гораздо чаще.

Зайцев подумал про пьяную красавицу в ночном парке. Откинул затылок к стене, почувствовал ее приятный металлический холодок. Вибрация самолета приятно передавалась голове, сразу начало клонить в сон.

– А я ведь прав был... – неожиданно грустно выговорил Нефедов.

Зайцев открыл глаза.

– ...хорошо, товарищ Зайцев, что нас с вами никто так любить не будет. Трепотня все это одна.

– Не в этом, Нефедов, соль.

– А в чем же еще?

– Ты еще только открыл хлебало, а из него уже лезет вранье. Лучше молчать в тряпочку.

– Это Крачкин сказал?

– Тютчев.

– А он из какой бригады? Не знаю что-то такого.

– Он из киевского угро.

Зайцев опять начал проваливаться в сон. В подошву ему ткнул носок ботинка. Зайцев неохотно разлепил глаза. Гудение самолета, казалось, теперь вливалось и через них, заполняя голову, вытесняя мысли.

– Ну?

– А на самолете почему «Амторг» написано? Это как? Торговля с Америкой, что ли?

Глаза закрывались сами. В мозгу у Зайцева пронеслись обрывки: зарубежные гастроли... лодка перевернулась... Америка... лодка перевернулась. Тянуло в сон.

– Торговля тоже, – сквозь зевок проговорил он.

На миг его кольнуло нечто вроде жалости к Каплуну – упитанному гэдэушному сановнику, в той истории ни в чем, кроме слабости к богатым вещам, хорошеньким балеринам и новеньким, технически хорошо продуманным крематориям, похоже, не виноватому. Но только на миг. Запорожца же и вовсе жалеть было нечего.

Опять толчок ногой. Зайцев раскрыл глаза:

– Нефедов, ты что, совсем уже?

– Почему они прислали за нами самолет?

– Я им написал. Как честный человек честным людям, которым нечего скрывать.

– Написали: пришлите самолет?

– Нет. Я написал им: найдите меня.

– А если бы они не нашли?

– Я в них верил.

– Врете.

– Вру. Я им не просто написал. Я отправил им небольшой подарок.

– Какой?

– Дружеский.

– Какой?!

– Нефедов, ну ты даешь. Неужели тебе спать не хочется?

И Зайцев снова закрыл глаза.

* * *

От Шоссейной сперва шли пешком – к шоссе. Потом их подобрала телега, телепавшаяся из Детского Села.

– Жрать охота, – сказал Зайцев. Перспектива завтрака была такой же отдаленной, как ближайшая столовка. До города еще трехать и трехать.

– Печенье будете?

Зайцев удивленно посмотрел, как Нефедов извлекает из карманов надорванный фантик и запыхавшиеся куски сахара.

– Это для поросенка было, – объяснил он. – На кухне дали.

В голосе его слышалась грусть. «Не успели подружиться, как разлука...» – иронически посочувствовал Зайцев.

– Я лучше, чем поросенок, – заверил он напарника. Оба захрустели сахаром так, что даже возница обернулся.

На Международном проспекте сошли. Дальше конек потопал в Коломну.

– На вокзале есть справочный киоск, – вспомнил Нефедов.

– Зачем? – не понял Зайцев.

– А где они живут? Шутники эти.

– Эх, Нефедов. Ничему тебя жизнь не научила.

– А вас научила?

– Научила. Информацию надо брать кустом. Граждане преступнички ждать не будут, пока мы по яголке клюем.

Он опять вспомнил Алексея Александровича. Вернее, не его, а мертвую женщину с голенькими младенцами, которые по дьявольскому замыслу изображали путти. Пока они с Нефедовым собирали по зернышку сведения об убитых, безумец убивал: еще и еще. Скольких бы они спасли, если бы сообразили, как обобщить поиск.

– О, – толкнул он Нефедова. – Трамвай. По коням.

Оба припустили вприпрыжку, догнали трамвай на повороте, вцепились в поручни, повисли на площадке. Зайцеву пришлось притиснуться к полной гражданке в пыльнике. Он зря старался, чтобы объятия выглядели менее интимно. Нефедов отвернул лицо от колючей шерстяной спины в кофте:

– На кинофабрику?

– А ты здорово номера маршрутов помнишь, – отметил Зайцев. – Молодец. Слушай, а сделай одолжение?

– Какое?

– У меня руки заняты – не могу на пальцах отсчитать. А в уме не удержать. Когда нас на Красных Зорь вызвали, помнишь? Вот двенадцать недель от этого назад.

– А двенадцать почему?

– А она в неделю по главе скидывала, верно?

Обтянутый пыльник зад нервно задвигался. Тетку нервировал разговор, которого она не могла толком расслышать за стуком трамвая. Особенно слово «руки». Боялась, что речь о ней, точнее о ее сумочке, зажатой между чужих тел, потерявшей чувствительную связь с хозяйкой. Повернуться тетка не могла. Лишь косила глазом, стараясь разглядеть, что происходит у кормы.

Зайцев сделал серьезную мину:

– Спокойно, гражданка. Милиция. А деньги советую не в сумке держать, а в лифчике.

Спрыгнули у Петропавловской крепости.

– Зря идем. Безнадега это. Сперли наши пиджаки давно.

– Ты, Нефедов, пессимист.

– А вы нет?

– Я? Я комсомолец. Я всегда верю в лучшее... Кроме того, видишь ли, артисты Теаджаза произвели на меня впечатление вполне домашних мальчиков. Мама водила на скрипку, папа проверял уроки. Скорее всего, те же мама и папа объяснили своим сыновьям, что нехорошо брать чужое.

Подвело, впрочем, не знание людей, а незнание театрального расписания. Мюзик-холл был закрыт.

– Черт, – выругался Зайцев. На юге он бы и в купальных трусиках чувствовал себя одетым. Но в Ленинграде без пиджака казался себе оголенным.

Нефедов задрал голову.

– Чего?

– А куда вентиляция выходит?

Обошли здание вокруг. Нашли круглую решетку.

Вынырнул Нефедов с паутиной в волосах, но прижимая к себе оба пиджака.

– Вот теперь готов к труду и обороне, – одернул полы Зайцев. Смахнул с рукава пылинку.

* * *

Товарищ Горшков очень изменился с их последней встречи. Он, если так можно было выразиться применительно к его внешности и комплекции, порхал.

Хуже того, пел. И еще хуже – что пел.

– Я маленькая балерина, – мурлыкал он, роясь в шкафу. – Всегда нема, всегда нема... Какие даты, говорите, вас интересуют?

Зайцев повторил. Горшков кивнул. Толстые пальцы бежали по корешкам папок:

– Но скажет больше пантомима... Чем я сама, чем я сама.

Выдернул, передал.

– Отдать насовсем не могу. Собственность фабрики. Хранить бессрочно.

Зайцев уже жадно раскрыл папку.

– Зачем же хранить? Тем более бессрочно, – полюбопытствовал. – Раз кинопробы неудачные.

– Сегодня неудачные, а завтра, может, типаж то, что надо, – профессионально объяснил Горшков, опять замурлыкал: – А мне сегодня за кулисы... Прислал король, прислал король...

Покачивался он с пятки на носок, с пятки на носок. Выглядел он победителем.

«Секретаршу, что ли, увлек в амур», – гадал Зайцев.

– Много у вас тут проб, гляжу.

– У нас план по фильмам. И коммунистическое соревнование с Москвой, – пояснил Горшков. Так, что казалось, соревнование это он уже выиграл.

– Можно у вас заодно и справочку навести? Так, парочку адресов сотрудников.

Хорошее настроение товарища Горшкова располагало. И правда: тот крутанулся на носках, высунулся в предбанник.

И как только он это сделал, Зайцев быстро разжал скоросшиватель, выхватил стопку листов, заткнул себе за пояс, запахнул пиджак...

– Соня! – звал в коридор Горшков.

...Сунул в папку первые подвернувшиеся под руку журналы.

Горшков вернулся:

– Запросто.

Зайцев спокойно завязывал на папке тесемки. Завязал. Вернул папку:

– Спасибо.

Горшков вставил папку обратно:

– Сейчас Сонечка вам поможет в лучшем виде. Какие адреса?

– Текстовиков ваших, Эрдмана и Масса.

Мурлыканье оборвалось. Как будто рука завернула кран с журчащей струйкой.

Только на секунду. В следующую секунду товарищ Горшков уже собрался. Но улыбки не было. И песенка тоже заглохла. Лицо его приняло умудренное выражение.

– Я так и знал. Я смутно чувствовал.

– Да? – пристально посмотрел Зайцев ему в глаза. – Это хорошо.

– Просто не сразу раскусил. Они долго и искусно притворялись советскими людьми.

– Но вы подозревали? – Зайцев и сам не знал, какую рыбку ловит. – Почему?

– У одного папаша бывший купец, у другого нэпман.

В дверь заглянула уже знакомая Зайцеву куколка.

– Ничего, Софья Федоровна! Я по ошибке нажал! – махнул ей Горшков. И куколка послушно исчезла.

– Сейчас. Конечно. Сейчас.

Он раскрыл толстую алфавитную книжку. Нашел обе нужные буквы. Полистал. Но не переписал адреса. Не прочел вслух. Он выдрал странички и отдал их Зайцеву.

* * *

– Ни хрена себе, – молвил Нефедов. Дверь в квартиру Эрдмана была заклеена бумажной полоской – лиловела печать, рядом каракуля подписи.

– Ты, как всегда, тонко заметил, – Зайцев потрогал беленькую бумажку. – Хм.

Зайцев проверил адрес на всякий случай. Адрес правильный: Эрдман Николай. Вот только дверь была опечатана ГПУ.

– Мы же его только что видели. В Гаграх. Обоих.

– Видишь ли, Нефедов. Боюсь, товарищи Эрдман и Масс просто еще не знают о перемене в своей биографии.

Он вспомнил: а профессор Федоров не знает о том, что дача национализирована.

Он вспомнил: «Я отомщу», пообещал тогда по пьяной лавочке Горшков. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, не зря предупреждает русская поговорка. Горшков накропал донос. Отомстил изменникам. Забил баки московским конкурентам. То-то теперь летает.

Зайцев вынул из-под ремня листы, заставлявшие его держаться прямо, как в корсете. Сел на ступеньку лестницы. Нефедов все еще трогал задумчиво печать.

– Можно, в принципе, через окно, – размышлял он вслух. – Отжать форточку – пара пустяков. Знаю этот тип задвижки.

– Не нужно, – ответил с лестницы Зайцев.

Он нашел снимки быстрее, чем ожидал. Их было больше, чем он думал. Быстро перегибал страницы, закладывая пальцами нужные.

– То-то задался я вопросом. Хорошо, тогда на фабрике визжала наша Варя, по выражению одесского лорда, как сто женщин с Привоза, потому что шутка с перепиской открылась.

Теперь уже вся зайцевская пятерня была зажата бумажками:

– И вот. Вот еще.

– А вопрос какой?

Зайцев быстро выдергивал из стопки нужные страницы.

– Ради чего она тогда на фабрику вообще приперлась.

Раскладывал на ступеньках:

– Вот он ее любовник... Смотри.

Нефедов наклонился.

– ...ее главная и единственная сердечная страсть.

Варя в косыночке. Варя со значком ГТО на груди. В медицинской шапочке. Или с накладными косами. В круглых очках учительницы. Она безуспешно пробовала попасть в тон какой-нибудь положительной советской героини. Хоть какой-нибудь. Отрицательной тоже. С папиросой во рту. Или в коротком лакированном паричке. Или с бокалом и в вечернем платье.

На каждом снимке она была все еще молода и красива.

Каждый снимок портило одно и то же: выражение одновременно порочности и растерянности. Какая уж тут героиня. Обломок, выплывший после кораблекрушения.

Фотографии, фотографии, фотографии. Фильм, сказал правду Горшков, запускали много.

– Голос, – прочел Нефедов. Показал пальцем. На каждой карточке стояла только одна карающая отметка.

Кино заговорило. Технический прогресс перешагнул через Варю и устремился дальше.

– М-м-м-м, – согласился Зайцев. – Даже мой добрый незнакомый друг, с которым случилось беседовать там у моря среди роз, сказал: голос у нее был мерзкий, как у чайки.

При мысли о скрипе невских чаек обоих передернуло, как от похожего звука ножом по стеклу.

– К кому же она тогда бегала тайком от соседей? В лифте?

– На кинофабрику, – кивнул Вариным лицам Зайцев. – Лифт ей нужен был, потому что иначе днем не выйти из коммуналки незамеченной.

– А чего ж незамеченной? Они же больше нее самой ждали ее возвращения в кино.

– Триумфального, Нефедов. Они ждали от нее нового триумфа. Она была их королевой. Боготворили они ее. А Крачкин прав.

– У вас Крачкин, гляжу, всегда прав.

– У легенды не болят зубы. И ее не вышвыривает за проходную товарищ Горшков. Или еще хуже – какой-нибудь второй ассистент.

– Не понимаю. Раз они ее боготворили. Соседи. Они бы, наоборот, ей посочувствовали. Поддержали бы.

Зайцев вздохнул.

– Ты действительно не понимаешь.

Где-то наверху стукнула дверь. Гулко посыпались вниз шаги. Зайцев стал собирать бумаги.

Женщина в трикотажном джемпере и юбке поглядела на них подозрительно:

– Квасить засели? Вот я дворника сейчас позову.

Мимо гневно пролопотали туфельки, промелькнули белые носочки. На бумажку и печать на двери соседка не обратила ни

малейшего внимания.

Зайцев поднялся. Пересек лестничную площадку. Утопил медную пуговку, игнорируя многосложные – тут же к двери прикнопленные – инструкции, кого из соседей как вызывать, составляя коды из коротких и длинных звонков. Держал палец долго. Перебил короткой паузой. Снова утопил. Требовательный голос властей предержавших: дворников, домоуправов, милиции, ГПУ.

– Кто там?

– Уголовный розыск.

– А что случилось? – приоткрылась дверь, недоверчиво звякнула дверная цепочка. Зайцев сунул удостоверение.

– Пока ничего, гражданочка. Позвонить надо... Попаси здесь на всякий случай, – бросил он Нефедову. – Если правда дворник нарисуетя.

Зайцева впустили. В полумраке коридора лежал киль света: бдительная соседка наблюдала в приоткрытую дверь. Зайцев снял трубку, коротко приказал:

– Уголовный розыск.

Можно рявкнуть – и любопытный нос скроется в своей комнате. Но ему было все равно. Всё равно ничего не поймет. Он сам не понимал. Пока что. В трубке щелкнуло. Соединили. Зайцев узнал голос дежурного – исполнительный Викентьев.

– Викентьев, привет. Зайцев говорит. ...Нет. А Савостьянов где сейчас обретается? ...Выходной – это хорошо. ...А номер какой?

Зайцев легко запомнил комбинацию.

– ...Нет. А когда Коптельцев меня спрашивал? ...О, даже так? ... Ну скажи ему, я с Красных Зорь звоню...Номер дома не надо. Он знает. ...Ага. Пока.

Отбой. В коммуналке, где жил Савостьянов, ответила соседка:

– Спит вроде он.

– Толкни его, гражданочка, а? Скажи, начальство. Срочно. Поживее пусть.

А сам представлял: дежурный набирает Коптельцева. Его, конечно, соединяют не сразу – начальство щекотки не любит. Маринуют для порядка.

– У аппарата, – ответил голос, хриловатый то ли со сна, то ли с похмелья. Зайцев невольно улыбнулся: почему-то ожидал, что

Савостьянов привычно ответит «уголовный розыск».

– Зайцев говорит.

– Здравствуйте, товарищ Зайцев.

– Савостьянов, слушай. Ты автопробег помнишь?

– Который? – сразу оживилась трубка. – Москва – Тифлис?

Каракумский?

Зайцев обрадовался: фанат.

– Ну этот. Ты еще нам показывал. Лимузины опытные.

– Восьмицилиндровые. Дальнодорожные. Сто лошадей. – Зайцев отвел ухо от посыпавшейся шелухи сведений.

– Да-да. Там еще «Изотта-Фраскини»...

– ...А, ну это старье. Так, для исторического сравнения включили.

Она прямо на старте развалилась.

Разговаривать с Савостьяновым об автомобилях было так же тяжело, как с футбольным болельщиком – о последнем матче, с рыбаком – о корюшке.

– ...Там еще «Изотта-Фраскини» бежала, – договорил своё Зайцев. – Ты не помнишь случайно – автопробег когда из Ленинграда стартовал?

– Почему же случайно? – слегка обиделся Савостьянов.

Нефедов стоял на площадке, глядел в лестничный пролет – тихий и гулкий, как пустой колодец.

Обернулся. «Вот черт. А я думал, неслышно вышел», – чертыхнулся про себя Зайцев.

– Интересно то, Нефедов, что ювелир торгсиновский, товарищ Вайнштейн, еще в самом начале сказал, что во всех этих побрякушках виден цельный вкус одной личности.

– Вы что, Вайнштейну звонили?

– Идем.

По прикидкам Зайцева, дежурного уже пропустили к уху начальства.

– А теперь-то куда?

– В самое начало. Где мы, собственно, ее и упустили. На улицу Красных Зорь.

Белая ленточка с его собственной росписью так и была разорвана – как оставили в прошлый раз. Дверь не заперта. Зачем? Выносить из

комнаты нечего. Голые стены. Исцарапанный пол. Давно нечищенный камин. Шесть высоких окон в ряд.

Зайцев встал под люстрой, задрал голову. Посмотрел на великолепную хрустальную архитектуру. Потом вниз. Потом опять на люстру. Она словно замерла, неприятно остановленная его изучающим взглядом. Никто не любит внимание милиции. Неподвижно лежали на стенах, полу, потолке бриллиантовые искры.

Зайцев присел на корточки. Задумчиво потрогал пальцем узор из ссадин на паркете: ровные, короткие, глубокие. Они не могли быть оставлены, когда двигали мебель. Слишком глубокие, слишком короткие.словно брошенные с высоты. Именно так он себе это и представлял. И не мог вообразить. Сердце тихо сжимал ужас, похожий на ледяную щекотку. Неужели можно вот так любить... Вернее, не любить...

– Что там? – перебив его мысли, тихо прошелестел Нефедов: как в музее, было неловко говорить в полный голос.

– Репетиция... Нефедов, – Зайцев кашлянул, прочищая горло, – а кем, собственно, Варя служила в цирке?

– С Ирисовым-Памирским работала, я ж вам рассказывал.

– Да. Ну а делала-то что?

– Вы Ирисова-Памирского не знаете? – ужаснулся Нефедов.

«В каждой избушке свои погремушки», – подумал Зайцев: и каждая избушка думает, что стоит в центре мира.

– Так кем Варя у него работала?

– Да ну. Разве это работа? – Нефедов тоже вышел на середину пустой комнаты. Тоже задрал подбородок. На его свиное личико легли радужные искорки.

– А что?

– Скажете тоже, – ворчал Нефедов. – Работа. Просто баба красивая. Стой и глазами хлопай. Вот и вся работа. Иногда только смотри, чтобы с башки яблоко не скатилось. Да и его они там наверняка как-нибудь присобачивали, думаю. Шпильками или еще чем-нибудь. Пока Ирисов-Памирский кинжалы свои метал.

Зайцев охотно бы стряхнул наваждение, не получалось: его пробирал озноб, из-за которого и эта большая светлая комната, которую скоро наверняка нарубят перегородками на три семьи, если

только не отдадут какому-нибудь чину с голубым околышем, – эта комната в летний день казалась склепом.

«Как бы то ни было». Пора было двигаться дальше.

– Ты, Нефедов, курить случайно не начал?

– Нет... Вы думаете, ее Синицына пришила?

Зайцев подошел к камину. Просунул руку ему в пасть. Нащупал кремь. В таких новых домах каминны всегда снабжались механическим кремнем.

Зайцев проверил. Камешек с тех пор стерся, но все еще давал голубую искру.

Сердце билось быстро, но мерно. Движения экономные, четкие.

Вынул из-за пояса стопку бумаг. Бросил в камин. Варины лица. Щелкнул. Дал искре лизнуть бумагу. По краю побежала оранжевая кайма. Лист стал темнеть. И когда пламя занялось, Зайцев выпростал из внутреннего кармана свернутые листы.

– Ну вы даете, – только и сказал Нефедов. – А говорили, что научились.

– Именно. Варя совершенно права. Повиднее положишь – получше спрячешь.

И бросил в огонь.

Камин прочистили совсем недавно – когда искали, не спрятано ли чего в дымоходе. Тяга была отличная. Один горящий листок, как огненная ведьма, улетел вверх.

Из коридора слышались голоса соседей. А потом безличное:

– Всем сидеть по своим комнатам.

Всё было кончено, когда они вошли. Саламандрами метались последние огоньки.

– Товарищ Коптельцев, – молодежато доложил Зайцев. – Искомый объект обнаружен, как приказано.

Коптельцев бросился к камину, совершенно позабыв о молодцах, что ввалились вместе с ним. Пыхтя – мешало брюхо – наклонился, подвернул колени, утопил толстые пальцы в еще горячем пепле. Обжегся. Отдернул. Обернулся, сопя. Наливаясь багровой кровью.

Зайцев постарался встретить его особенно круглым взглядом.

– Случай самовозгорания. Необъяснимый наукой. Товарищ Нефедов подтвердит. Всё сгорело. Мы только вошли – а оно само: пух.

– Всё?! ...Сука, да ты под расстрел пойдешь. Думаешь, я в игрушки играю.

Кивнул пехоте: берите.

Зайцев поспешил ответить:

– Кроме, конечно, пары небольших фельетонов, юмористических, которые я отправил в Амторг.

В локти ему впивались железные пальцы. «Смирно», «без фокусов», – шипело в уши.

Коптельцев встал. Он громко сопел. Багровый цвет на щеках стал отливать фиолетовым.

– Амторг? – тихо спросил он.

– Ну да, «Американская торговля». Тоже любят поохотать. Чужие мемуары почитать, когда делать нечего, – с невинным видом пояснил Зайцев. – Маленький презент. Пустяки.

Он не сводил с Коптельцева глаз. Какая связь между утонувшей в Петрограде балериной и утонувшими в Америке чиновниками, Коптельцев, скорее всего, не знал: не по сеньке шапка. Но чем занимается Амторг, кроме собственно торговли с Америкой, по своей службе в ГПУ представлял себе, похоже, в чертах хоть и общих, но пугающих. И в одном Зайцев не ошибся точно: два ведомства враждовали насмерть. У Коптельцева затряслась челюсть. «Сейчас его хватит кондратий», – подумал Зайцев про шефа.

– Товарищ Коптельцев, – продолжал он так, будто начальник угрозыска сидел у себя в кабинете за столом. – Вы не возражаете, если мы с товарищем Нефедовым закончим рабочий день пораньше в форме отгула. Поедим то есть. В брюхе оркестр. А дело закроем завтра. Не помрет ведь Гудков в камере? – Он сделал паузу, чтобы сказанное дошло до налитого кровью мозга Коптельцева. – Гудков ведь не убивал никого. Украшения спер, это да. За это посидит, конечно. Но это статья легонькая, спешить нечего... А то мы с самого утра ничего, кроме куска сахара, не ели.

– И печенья, – вставил Нефедов. – Которое для поросенка.

Впрочем, машинально, из природной любви к полной точности.

Коптельцев сопел, сопел, сопел. А потом взмахнул рукой.

– Что? – добродушно наклонился Зайцев.

– Вон пошел, – прохрипел еле слышно. Пальцы, державшие Зайцева за локти, разжались. Нефедов выскользнул следом.

В коридоре Зайцев быстро нашел нужную дверь. Легонько стукнул. Он, впрочем, не сомневался, что она все слышала. Она всегда все слышала. Елена Ивановна высунулась. Зайцев не сомневался, что последние минуты она простояла, приложив к двери ухо.

– Гражданочка, вы любезность не окажете – в ту комнату стакан воды не подадите?

* * *

– Когда вы к профессорше, маникюрше постучались, я подумал, вы ее арестовывать будете.

– Ее-то за что?

Зайцев придвинул стакан с молочным коктейлем. Посмотрел, как тихо лопается пена. На краю виднелся мутный отпечаток чьих-то губ. Отодвинул как бы невзначай. Чего портить товарищу праздник.

Нефедов быстро орудовал ложечкой в запотевшей чашечке на ножке. Ел мороженое.

– Ну ты даешь, Нефедов... Я б тебя предупредил.

– Тогда кто она?! Кто она?

На них обернулись. Все больше мамыши с детьми.

– Ты чего орешь?

– Вы сказали: упустили – ее. Кого? Вы чего меня за нос водите.

Зайцев искренне удивился:

– Я думал, ты понял... Ой-ой, не смотри на меня, как товарищ Розанова на Крачкина, а Ленин на буржуазию. Ну, прости, Нефедов. А я тебя за нос не водил. Ты сам виноват. Это не я тебя, а ты меня запутал. Ты так осмысленно разговор поддерживал, я думал, что ты кумекаешь.

– Товарищ Зайцев.

– Люстру. Нефедов. Люстру... Помнишь, какая пылица там была, когда мы с обыском завалились? И то нам в голову не пришло, что по логике вещей и люстра там должна была выглядеть как серый валенок. В лучшем случае.

– Что же, Синицына не только труп накрыла, но люстру тоже обмахнула, хотите сказать? И нам набрехала?

– Неа. Она с самого начала не врала. Это мы думали, врет... Главное, что обидно: меня все с самого начала прямо об этом спрашивали. И Крачкин, и Вайнштейн, и старый киношник там, в Гаграх, возле роз. Если бы я хоть одному из них ответил быстро, то не пришлось бы нам крутить все эти сальто-мортале.

– О чем это они вас спрашивали?

– Ну вот болван этот, у клумбы, например. Он спросил: акробатки, наездницы, а еще в цирке какие дамы бывают? Почему мне это в голову не пришло? Ведь на акробатку или наездницу учиться надо. А Варя влилась в коллектив – и так же внезапно вылилась. Но главные вопросы, конечно, Крачкин и Вайнштейн задали. Да я и сам их себе задавал, с вариациями. Кто она такая, эта Варя?

– Потому что известно: актриса фильмовая.

– В этом всё и дело. Не только.

– Баба красивая.

– Дурак ты. Человек она какой!

– Не очень хороший.

– Ну, Нефедов. Это оценочно. Я писанину ее читал. На первый взгляд ушлая бабенка. Циничная, острая на язык, все с усмешечкой, все с нее как с гуся вода. Нет, не живут такие в пылице. Не бегают втайне по просмотрам. Не отвечают письмом пылким юным незнакомцам.

– Ну так какая она тогда?

– Как тут одним словом скажешь? Правильно Вайнштейн заметил: цапки выдают. И Лёдик наш Утесов тоже в яблочко попал: ей все самое лучшее подавай. И соседи знали, о чем говорили: гордая. Первым ударом, конечно, стали просмотры эти. Отказы копились. Еще первые можно списать на простое невезение. Но потом и она стала понимать: тут не просто невезение. Фильм в ее жизни больше не будет. А там еще удар – мальчишки эти со своими любовными цидульками. Смешно? Мне смешно. А ей не очень. Над ней – смеяться?! Раньше над ней не смеялись. И так ей, Нефедов, видно, тошно стало... Баба ведь еще молодая. Так она, видать, ясно увидела, что впереди – долгие-долгие годы, в которых у нее ничего нет. Кроме комнаты с хламом и кучки старых поклонников. Тоска. Тоска и злоба. На несправедливость жизни. Почему одни из ее прошлой жизни отлично устроились в новой, а сама она – нет? Вот она и собрала их всех... Ты вспомни, мы с

тобой дивились, когда первый раз прочли: все герои у нее больно заметные – таких поди на допрос еще вызови. Вот-вот. Причем ловко так она написала это. Сперва читаешь – хаха-фафа. Оперетта с дураками. А потом понимаешь, что по каждой главе там если милиция прохлопает, так ГПУ точно таскать начнет. Пленных она решила не брать. Последняя фильма. И все взоры только на нее.

– А Савостьянову вы зачем звонили? Что он вам сказал?

– Что судьба тонкая штука, Нефедов. Варя баба ушлая. Ты же сам приключения ее читал. Тебя они не напугали? Меня – да. Я бы и от половины гикнулся. На Пряжке уже сидел. А эта ничего. Отряхнулась и обратно в драку кинулась. Пока у нее имелось кино, ей ничего страшно не было. А судьба ей на спину соломинку для надежности подбросила. И хребет Варин – крак!

Зайцев сломал деревянную палочку, поданную к коктейлю.

– Самое обидное, Нефедов, что и это я тоже видел. Просто не понял. Савостьянов пальцем даже потыкал. А я никак. Вот это досадно. Только одно живое существо в своих мемуарах Варя описала ласково. Тачанку свою марки «Изотта-Фраскини». И вот представь себе. Выходит Варя с кинофабрики. Очередной отказ. Тут еще мальчишки эти – даже если Лёдик наш приукрасил насчет того, что шуму было много, задета Варя была хорошо. Ползет она, значит, к себе, в логово, как подстреленная волчица. А тут – автопробег Москва – Ленинград – Москва. Савостьянов мне все изложил. Еле живым от него ушел. Лимузины новенькие. Восемь цилиндров, сто лошадей, советский автопром. Шик-блеск. И тут же старушка «Изотта» трехаёт. Ее «Изотта»! Ты вспомни, она пишет: другой такой ни у кого нет... Савостьянов рассказал мне про крушение этого драндулета на старте. И Варю нашу это добило. Вот когда я это, Нефедов, понял, остался только последний штрих... Вот ведь хладнокровная баба, конечно. Под ножиками стоять. А если промахнулся бы Ирисов ваш?.. И вот она сделала скользящий узел вокруг рукояти – он у нее в мемуарах, кстати, описан. Забросила веревку на люстру, так что пыль вся посыпалась. Перед этим, конечно, порепетировала – она же актриса. Только мы выбоины от ножа на полу при обыске не заметили – поверх них кровать стояла, а потом уже пол весь нами исцарапан был, живого места не видать... Ну и, значит, легла Варя на место точное. Укрылась шалью – и дернула веревку. Узел развязался, веревка упала вниз.

Помнишь, мы, когда обыск проводили, ты о веревку, то есть поясок шелковый, чуть не споткнулся. А я его отбросил.

Зайцев машинально стучал обломком палочки по краю стакана.

– Не дрогнула же... Но этот штрих ее портрета уже ты мне дорисовал, – великодушно добавил Зайцев. Стал глядеть в окно на Невский.

– Вы чего коктейль не пьете? Не вкусно?

– Сладко очень уж. Надо было тоже мороженое заказать.

Зайцев глядел в окно. Девицы шли мимо в крепдешиновых платьях. И в теплых вязаных кофтах. Не Гагры.

– Прямо так ее? – облизал ложечку Нефедов.

– Что ее прямо?

– Тачанка. Мало ли тачанок в городе, говорю. Может, не ее.

Нефедов принялся пилить ложечкой ледяные утесы в своей креманке. «Ишь ты. Перенял: сперва вкусное самое. Потом невкусное», – отметил Зайцев.

– Ты чего? А масть цвета шампанского? А дырка вместо радиатора, который Мишель себе на память скрутил? Представляешь, я и радиатор этот в комнате у Мишеля сам видел! А в голове не звякнуло. То есть не сразу. Я ведь тогда факты искал. А надо было – психологию. Прав был Крачкин.

– У вас Крачкин всегда прав, – проворчал Нефедов. – Натё, товарищ Зайцев.

И подвинул ему отделенный ложечкой холодный земляничный утес.

Зайцев смотрел на оплывающий маленький айсберг. «Гордость», – перевел он, как сумел, для Нефедова. Но было ли верное слово для самой Вари? Раньше Зайцеву казалось, что гордые счастливы: им всё равно, ни до чего нет дела, в них можно плевать сколько угодно и кому угодно – с таким же успехом можно плевать в облако, в луну, в солнце. А Варя счастлива не была. Как она там написала про Запорожца (то-то сейчас ее остроумием наслаждаются сотрудники Амторга)? Никогда не стой между алкашом и бутылкой? Между наркоманом и морфином. А между Варей и глазком киноаппарата, который должен смотреть только на нее? Она так любила кино! Она никого так больше не любила. Даже саму себя. Мемуары написаны злым пером. Но не по злобе к этим, у которых сейчас хорошо. Она просто хотела

справедливости. Ей следовало уйти из жизни, где не было кино. Но и им – тоже. Потому что она была настоящая, а они – нет.

И еще, конечно, они ее немного обидели. Но это не так важно.

Зайцев вдруг подумал, что Варя была большим художником. Она знала страшное притяжение того источника, из которого вычерпаны, выловлены, выужены все эти книжки, картины, стишки. Ну и пусть плоды ее гения – эти все фильмы – дерьмовые. Так тоже бывает.

Зайцев вспомнил «Замок Тамары» и прочую дребедень, улыбнулся.

– Рады, что Гудкова от расстрела увели? – подал голос Нефедов.

– Конечно, Нефедов, рад! – ответил быстро Зайцев.

– Дело закрыто! – довольно подвел Нефедов.

– Закрыто, – повторил Зайцев, и в следующий миг почувствовал, что прежняя апатия наваливается на него, как большой серый зверь.

Подошла официантка в белом передничке.

– Еще чего-нибудь? Кофе? Какао?

– Нефедов, будем чего-нибудь? – изобразил энтузиазм Зайцев.

Официантка подала Нефедову сложенную вдвое картонку меню. Такую же Зайцеву.

Он раскрыл.

На него уставился вложенный в меню маленький белый прямоугольник плотной бумаги – на такой иностранцы печатают свои имена, должность, адрес конторы.

Вот только имя было не иностранное. А русское. Самое обычное. Обычнее некуда.

На ней стояло:

Mr. Petrov

AMTORG.

Руки Зайцева, держащие меню, стали ледяными, в ушах зашумело.

– Так что – какао? – спросила официантка.

Примечания

1

Подробнее об этом читайте роман Ю. Яковлевой «Укрощение красного коня».

2

Подробнее об этом читайте в романе Ю. Яковлевой «Вдруг охотник выбегает».

Table of Contents

[Юлия Яковлева Небо в алмазах](#)

[Глава 1](#)

[Глава 2](#)

[Глава 3](#)

[Глава 4](#)

[Глава 5](#)

[Глава 6](#)

[Глава 7](#)

[Глава 8](#)

[Глава 9](#)

[Глава 10](#)

[Глава 11](#)

[Глава 12](#)

[Глава 13](#)

[Глава 14](#)

[Глава 15](#)

[Глава 16](#)

[Глава 17](#)

[Глава 18](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

